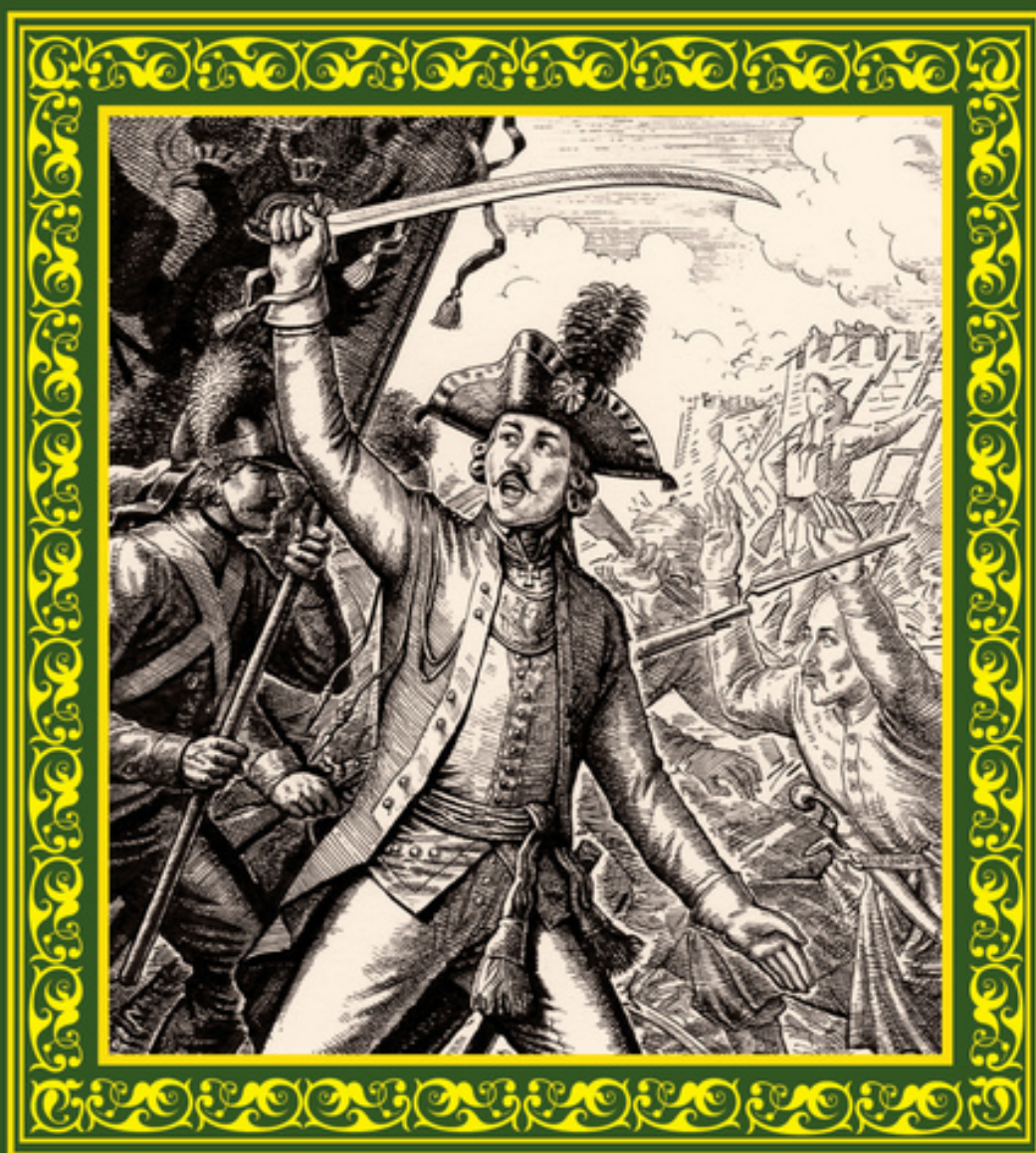


Юрий ЛУБЧЕНКОВ

# ВИВАТ НОВОРОССИЯ



Юрий Лубченков  
**Виват, Новороссия!**

«ВЕЧЕ»

2015

**Лубченков Ю. Н.**

Виват, Новороссия! / Ю. Н. Лубченков — «ВЕЧЕ», 2015

ISBN 978-5-4444-8679-5

Роман писателя Юрия Николаевича Лубченкова (1960 г. р.) открывает одну из ярких страниц отечественной истории – создание во второй половине XVIII века Новороссии на тех землях, что некогда были частью Древнерусского государства. Огромная заслуга в этом принадлежит одному из главных героев романа – фельдмаршалу Петру Александровичу Румянцеву, под предводительством которого русская армия разгромила во много раз превосходящие силы Османской Порты и Крымского ханства. Ему выпало стать первым в ряду полководцев, вернувшим России ее южные территории.

ISBN 978-5-4444-8679-5

© Лубченков Ю. Н., 2015

© ВЕЧЕ, 2015

## Содержание

Пролог	6
Глава I. Молодо-зелено	10
Глава II. Обретение себя	25
Конец ознакомительного фрагмента.	46

# Юрий Лубченков Виват, Новороссия!

*Тогда Румянцев, торжествуя  
Геройским духом, проходил  
Пределы турок показуя,  
Своему войску говорил:  
«Теперь нам Бог открыл путь к славе,  
Мы властвуем в чужой державе:  
Теки, о Росс! В сей путь теки  
Победою руководимый.  
Ты – Марсов сын непобедимый  
Теки подобием реки».*

© Лубченков Ю.Н., 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2016

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

## Пролог

В пятом часу, когда сквозь сероватую и холодную дымку утреннего тумана только начали проступать контуры окружающего, днем по-южному яркого и многоцветного мира, под мерный, ввергающий в транс единения грохот полковых барабанов, русские каре начали подступ к турецкому лагерю у реки Кагул. День 21 июля 1770 года наступил.

Согласно диспозиции главнокомандующего генерал-аншефа и кавалера Румянцева русская армия наступала четырьмя группами: авангард генерал-квартирмейстера Баура – четыре тысячи штыков – атаковал турок в охват левого фланга их укреплений; дивизия генерал-поручика Племянникова – 4,5 тысячи человек – должна была атаковать левый фланг турецкой позиции с фронта, в лоб; дивизия генерал-аншефа Олица – 7,5 тысячи солдат – совместно с дивизией Племянникова также наступала на левый фланг турок; дивизия генерал-поручика Брюса – 3 тысячи человек – и авангард генерал-поручика Репнина – 5 тысяч пехоты – шли на правый фланг противника. Главные силы конницы – до 3,5 тысячи сабель генерал-поручика Салтыкова – двигались в атаку между дивизиями Олица и Брюса.

Последовавший бой потребовал от каждого предельного напряжения сил.

Корпус Баура штурмовал боковые укрепления. После четверти часа ураганного артогня главнокомандующий турецкой армией бросил и против этого корпуса – как прежде против Олица, Репнина и Брюса – спагов, свою отборную конницу.

Издавна турки лучше всего владели белым – холодным – оружием. Вот и теперь, когда они с криками и рвущим душу визгом на рысях пошли на сшибку, казалось, что их удар будет неотвратим и страшен: геометрически прямая фронта каре будет растерзана, первые ряды будут вырублены в минуту. Но этого не произошло.

Баур и Вейсман практически одновременно прокричали единственно возможную команду – и солдаты доказали, что уже научились обходиться с османскими конными лавами. Раз и навсегда.

Ружейный и орудийный огонь, обрушившийся на кавалерию, практически не оставлял никаких шансов прорваться к русским порядкам. Этот шквал охладил наступательный порыв спагов, и их отогнали. Тогда они ударили русским в тыл, надеясь хоть этим задержать их наступление. Но Баур, оставив арьергард, лишь убыстрил движение своего каре.

На подступах к укрепленной высоте русским преградили дорогу янычары, с которыми завязалась жаркая рукопашная, постепенно перемещавшаяся в глубь турецкой обороны. Офицеры дрались в первых рядах, подбадривая, поддерживая и направляя усилия своих подчиненных. Тут же были и Баур с Вейсманом, не привыкшие прятаться за свои чины и чужие спины в подобных жарких делах.

Русские военачальники знали, что, как правило, осман хватает лишь на самый малый наступательный порыв – долгое напряжение боя они не любят. Вот и теперь: янычары стали все чаще оглядываться назад и наконец побежали. Укрепление было взято, но отдыхать было еще рано.

– Граф, – обращаясь к командиру батальона егерей Воронцову, подчиненные которого первыми ворвались в ретраншемент, прокричал Баур, сам еще не остывший от горячки боя, – берите своих людей и ударьте с фланга в центральное укрепление визиря. Я вас прикрою.

Тут же раздалась команда:

– Батальон, за мной!

Вслед за быстрыми на ногу егерями Баур послал и более сильный отряд прикрытия, возглавляемый Вейсманом. Командующий авангардным корпусом вовремя приказал, а Вейсман с Воронцовым быстро поняли суть – удар с фланга в центральный ретраншемент был действи-

тельно необходим, ибо события в середине наступающих русских порядков менялись стремительно: каре Племянникова, заняв гребень высоты, теперь было на острие атаки.

Дивизия почти уже дошла до турецких окопов, состоящих из тройного рва, как внезапно была атакована отборным более чем десяти тысячным корпусом янычар. Незадолго до этого янычары неприметно спустились в ложину, примыкавшую к левой стороне их лагеря, а вот теперь, выбрав самый уязвимый момент зыбкого равновесия перед решающим штурмом, нанесли русским сильнейший удар.

Удар пришелся в угол правого фаса и фронта. Здесь были полки Астраханский и первый Московский. Едва передний ряд астраханцев успел выстрелить, как тут же был смят янычарами, ятаганами – ружей те в атаку даже и не взяли – прокладывая себе дорогу внутрь каре. Турок было вдвое больше, чем солдат у Племянникова, и сейчас – в рукопашном бою – это начинало фатально сказываться: в несколько минут два угловых полка были смяты и расстроены. За ними та же судьба постигла Мурманский, четвертый гренадерский и Бутырский полки. Строя больше не было.

Каре оказалось разорванным пополам. В руках янычар – уже два полковых знамени, которые они срочно отправили к себе в лагерь, зарядные ящики. Русские быстро теснили к отряду Олица, наступавшего чуть-чуть сзади и немного левее Племянникова, и янычары сквозь разорванные ряды передового русского каре уже промчались перед фронтом главного отряда Румянцева, начиная с ним отдельные пока стычки.

Турки вывели на прорыв достаточно сил, но немало их осталось еще и в ретраншементе. Поэтому они в общем-то спокойно восприняли на фланге их укрепления небольшого отряда русских – батальона Воронцова. Тем более что спешившийся на помощь Вейсман еще находился в это время вне зоны видимости с этого ретраншемента, и создавалось впечатление, что группа противника пытается выкурить осман из сильнейшего укрепления.

Разгоряченные общим достигаемым вот как раз в эти минуты успехом, турки намеревались также по-молодецки расправиться и с этой жалкой кучкой гяуров. Но Воронцов, зная свои силы, увидев, что происходит перед турецким ретраншементом, и ожидая обещанного корпусным командиром прикрытия, пока решил действовать иначе, чем ожидал от него противник. Он, расположив своих егерей рассыпным строем, приказал открыть плотный ружейный огонь по янычарам, так чтобы тем нельзя было поднять головы.

В главном же месте боя – у каре Племянникова – обстановка все обострялась. Наступала та минута боя, когда особенно значимо усилие каждого на весах общего успеха. Еще несколько минут торжества османской пехоты – и гибель русской армии станет неизбежной. Оторванная от баз, имея в своем тылу войско хана, она вся ляжет здесь, вся без остатка.

Военачальники главного каре – каре Олица – во главе с Румянцевым несколько мгновений как зачарованные смотрели на появившуюся перед их фронтом яростную толпу янычар во главе со своими знаменосцами. Но вот, наконец, и голос командующего – как освобождение от морока, – успевшего и сумевшего за несколько кровавых секунд принять единственное, ведущее к победе и спасению, решение:

– Отсечь турок от лагеря картечью! Лишить их подкреплений!

Начальник артиллерии генерал-майор Мелиссино бросился выполнять приказ.

– Салтыкову ударить во фланги и тыл!

И нарочные тотчас отправились к начальнику тяжелой конницы.

– Генерал Олиц! Для подкрепления Племянникова приказываю выделить первый гренадерский полк.

Потом, обернувшись, искоса посмотрел на принца Брауншвейгского – волонтера при его штабе – в начале боя все рвавшегося сразиться с турками, а сейчас как-то уже и не особенно жаждущего этого. Подмигнув принцу, Румянецв сказал ему обычным голосом:

– Теперь наше дело.

С этими словами, вскочив на коня, он бросился к полкам дивизии Племянникова. С маху влетев в толпу, главнокомандующий осадил скакуна и спрыгнул в самую гущу рукопашной. Выхватив из ножен шпагу, Румянцев закричал своему в расстройстве отступающему войску:

– Стой, ребята!

Громкий знакомый голос заставил остановиться ближайших к нему. На них натыкались остальные, и скоро вокруг командующего оказалось достаточно людей, вновь вспомнивших о своем солдатском долге, достаточно для того, чтобы заново начать отбиваться от янычар уже грудью в грудь, а не только способных подставлять свои спины под ятаганы.

Бой принял новое ожесточение, ибо турки, поняв, что этот генерал, столь быстро вернувший своих солдат для боя, отчаянно рвались к нему. Отбиваясь от наседавших на него янычар, командующий продолжал руководить боем:

– Солдаты! Разбирайтесь по ротам! Становитесь в каре! Слышите? Наши уже рядом!

Невидимые ими, им помогали егеря Воронцова и часть отряда, которую успел привести уже Вейсман: ведя плотный ружейный огонь, они раз за разом сметали с флангового фаса ретраншементов всех, кто пытался в противовес им отбить их медленный неуклонный наплыв на укрепление. Наконец, уже никто из турок не рисковал высунуть головы из-за бруствера, а русский отряд тем временем приблизился почти уже вплотную к валу.

Крики турок, переходившие порой в захлебывающийся вой, крики, доносившиеся со стороны схватки с каре Племянникова, лучше всякого сигнала сказали командирам отряда «Пора!», и сначала Воронцов, а за ним и Вейсман повели своих людей на штурм укрепления, доверившись штыку.

Как раз в этот момент первый гренадерский полк под командованием бригадира Озерова, отделавшись от главного фаса, в штыковой атаке опрокинул турецкую пехоту и пробился к Румянцеву. Пять минут гренадеры сдерживали янычар, с визгом и возгласами «Алла!» рвавшихся для последнего удара по разгромленному передовому каре. За эти пять минут, подчиняясь магии слова главнокомандующего, раздробленные, растерзанные полки построились заново и приготовились к контратаке.

Снова раздался голос Румянцева:

– Солдаты! Товарищи! Вы видите, что ядра и пули не решили. Не стреляйте более из ружей, но с храбростию примите неприятеля в штыки!

С этими словами он подобрал с земли одно из многочисленных валявшихся там ружей:

– Вперед!

И стальной еж каре со штуками-иголками быстро покатился на начинающих терять запал янычар. Тяжелая русская конница, на рысях пришедшая к месту сражения, ударила по туркам с тыла. Те побежали. Не отставая, пехота на плечах отступающих ворвалась в укрепление, где его защитников уже добивали солдаты Воронцова и Вейсмана.

По взятии этого укрепления османы почти уже и не сопротивлялись – началось повальное бегство. Турок долго и успешно преследовал кавалерийский отряд генерала Игельстрема.

Уже у Дуная, когда неприятель, переполняя лодки, массами тонул, к реке вышел подоспевший в последнюю минуту корпус Баура, с ходу открывший ружейный и артиллерийский огонь. И все оставшиеся на берегу предпочли смерти плен.

Русские войска овладели колоссальным турецким обозом, заполонившим весь берег, лошадьми, верблюдами, мулами, множеством скота и остатками артиллерии – приблизительно двадцатью шестью медными пушками.

Кагул явился апофеозом не только военной кампании 1770 года, но и всей войны в целом. Войну, которую многие будут звать «румянцевской», поскольку именно благодаря военному гению командующего главной армией грянут победы, еще через несколько лет сказавшиеся на всей истории страны в целом. Поскольку именно по итогам этой войны и родилась Новороссия, окрепшая после победного мира следующей блистательной войны с Портой.

Российское государство, возникшее в конце XV – начале XVI века, являлось наследником Древнерусского государства. Древняя Русь имела прочные позиции в Северном Причерноморье. До берегов Черного моря, которое тогда называли Русским, простирались земли, населенные восточнославянскими племенами тиверцев и уличей, входивших в состав государства Русь с начала X в. Русские поселения существовали в низовьях Днепра и Днестра. Галицкий князь Ярослав Осмомысл, по словам автора «Слова о полку Игореве», «запирал ворота Дунайские». На востоке Крыма и западе Северного Кавказа находилось загадочное русское Тмутарканское княжество. Однако с середины XII века половцы, а затем в XIII веке монголы отбросили Русь далеко от побережья Черного моря. Позже, после распада Золотой Орды, Северное Причерноморье оказалось под властью Османской империи и ее вассала – Крымского ханства. И рано или поздно перед Россией, как преемницей Древней Руси, должен был стать вопрос о судьбе этих территорий. И недаром в XIX веке бытовало мнение: Новороссия – это земли, отвоеванные Россией у Османской империи и не имевшие до того плотного христианского населения.

Так что решающее значение для судеб Новороссии имели две войны второй половины XVIII века – 1768–1774 и 1787–1791 годов. Их часто называли в России Первой турецкой войной и Второй турецкой войной, хотя они не были ни первыми, ни вторыми. Однако это были действительно два самых масштабных из военных столкновений двух стран. Были они и самыми результативными для России. Именно в их ходе были решены главные внешнеполитические задачи Российской империи на южном направлении. Именно тогда Россия смогла, наконец, прочно утвердиться на огромных территориях Северного Причерноморья, получивших название Новороссии. Тогда же в составе России появилась Новороссийская губерния. И именно тогда началось интенсивное освоение Новороссии.

## Глава I. Молодо-зелено

– Извольте познакомиться, Петр. Это ваш батюшка, – дама величественного вида подтолкнула явно робеющего рослого мальчика к человеку в щедро расшитом золотым позументом камзоле, взглянувшему на сына холодно-веселыми глазами...

Этот взгляд смутил Петю еще больше. Он попытался было спрятаться в материнских юбках, но роскошный вельможа ловко поймал его:

– Ну, здравствуй, сын!

– Здравствуйте, – мальчик запнулся и с трудом, шепотом, – батюшка!

– Молодец! Смотри какой большой. Никак генералом будешь. Хочешь быть генералом?

– Хочу, – прошептал Петя испуганно. Он был готов согласиться со всем, только бы его отпустили в его привычный мир детской.

Отец его понял, но продолжал:

– Быть по сему, как говаривал незабвенный Петр Алексеевич. – Жесткое лицо вельможи внезапно сломала мимолетная судорога, в глазах блеснуло. – Будешь ты генералом. Но начнешь с рядовых. Запишу-ка я тебя в Преображенский полк...

Так в 1740 году прошла первая встреча Петра Румянцева с его отцом – чрезвычайным и полномочным послом России в Турции кавалером Александром Ивановичем Румянцевым.

Александр Румянцев был истинным «птенцом гнезда Петрова», одним из ближайших сподвижников царя-преобразователя. Единственное отличие: большей частью царевы птенцы были людьми худородными. Александр же принадлежал к «благородному» сословию. Он – из обедневших нижегородских бояр. Солдат гвардии, денщик царя – таковы первые этапы его служебной биографии. Вскоре он становится гвардейским офицером. 9 мая 1712 года подпоручик гвардии Александр Румянцев доставил Петру I известие о подтверждении мира с турками, который Россия была вынуждена заключить после крайне неудачного Прутского похода. Итогом этого похода стало для России потеря всего того, что большой кровью приобреталось в предшествующие годы. Своевременный же гонец был награжден – Петр пожаловал ему чин поручика Преображенского полка.

С этого момента он – в фаворе. Письма и указы ему Петром пишутся большей частью собственноручно. Почерк энергичен – видно, что царю недосуг ждать писца, и он сам пишет свои приказания. Петр посылает Румянцева с самыми разнообразными поручениями – для вербовки матросов и плотников, для сбора налогов и провианта, для разведки дорог и многого другого. Во время второго этапа затянувшейся Северной войны со Швецией, а именно в 1714–1715 годах Петр в переписке дает своему корреспонденту конкретные дипломатические поручения: ехать на Аландские острова для переговоров с англичанами, а также разузнать, какие слухи распространяются шведами среди населения Ревеля и Дерпта.

1717 год. Румянцев вызван к Петру. Царь был мрачен. Лицо нервно подергивалось. Ссутулившись, он ходил из угла в угол по малым своим апартаментам и беспрерывно дымил.

– Слышал, Сашка, что сынок мой натворил? – не отвечая на приветствия Румянцева, сразу спросил Петр о том, что его сейчас больше всего мучило.

Румянцев молча кивнул. Все окружающие царя знали, что его старший сын Алексей, сын от давно уже опальной Евдокии Лопухиной, неоднократно выступавший против бескомпромиссного реформаторства отца, подталкиваемый на это ревнителями незыблемой московской патриархальности, бежал за границу.

– Бежал, соплениш, и попросил защиты у тамошних цесарей! Защиты! От отца родного! Ну, да бог с ним, – как-то сразу потухнув, продолжал Петр. – Это бы простил я ему. Но то, что теперь смуте быть в стране, коли он по заграницам сидеть будет, а тут дружки его воду начнут мутить, то что он дело всей моей жизни упразднить хочет – этого я простить не могу.

И сорвавшись на крик:

– Найти его! Вернуть! Понял, зачем вызвал тебя? Всю Европу обшарь, а доставь! Поедешь с Толстым Петром. Ты за ним пригляд имей. Преданный-то он сейчас преданный, да помню я, как в стрелецкие-то дни он чернь московскую призывал меня извести. Такое не забудешь. Так что забот у тебя много будет. Да я тебе верю – все исполнишь как должно. А теперь ступай.

Петр снова заходил по комнате, уже не видя Румянцева, отступавшего, кланяясь, к дверям...

И Петр Толстой, и Александр Румянцев не подвели государя, оправдали доверие – Алексей был схвачен, возвращен в Россию и после пыток убит, его сторонники подверглись опалам и казням.

Вскоре в благодарность за усердие и преданность царь самолично занялся – как он это любил – устройством личной жизни Александра Ивановича. Итогом его хлопот стал брак Румянцева с Марией Андреевной Матвеевой – представительницей одной из знаменитых и богатых фамилий России, внучкой известного боярина Артамона Матвеева, наперсника отца Петра I – царя Алексея Михайловича. Ее отец – Андрей Артамонович, получивший от Петра титул графа, – посол России в Голландии, Австрии, Англии. Маленькая Маша сопровождала отца в его европейских службах, смотрела, запоминала. Дожившая до девяноста лет, она и в старости, сохраняя полную память и живость ума, любила рассказывать о первых годах Северной Пальмиры, о людях, живших в те времена, уже начинавшие казаться былинными. Вспоминала она перед благодарными слушателями и об обеде у Людовика XIV, на котором присутствовала, и о своем посещении лагеря герцога Мальборо и о том внимании, которого она удостоилась в Лондоне от королевы Анны...

Летом 1722 года начался Персидский поход Петра. В 1723 году русские войска заняли Баку и южное побережье Каспия, что облегчило борьбу народов Закавказья за свою независимость. В это время, воспользовавшись ослаблением Ирана, Турция решила захватить и эти территории. Россия, только что завершившая потребовавшую крайнего напряжения сил кровопролитную Северную войну, не могла оказать действенной помощи народам Закавказья и была вынуждена пойти в 1724 году на заключение договора с Турцией, по которому признавалось владычество Османской империи над Грузией и Арменией.

В августе 24-го же года Александра Ивановича Румянцева, отца уже двух дочерей – Екатерины и Дарьи – Петр отправляет чрезвычайным послом в Персию – для определения границ согласно трактату, а оттуда – послом в Стамбул.

Румянцев уезжал, когда Мария Андреевна ждала третьего ребенка. Последняя воля отца перед дорогой: «Если мальчик – назовите Петром». И вот сегодня, после многих лет службы на далекой чужбине, он впервые увидел своего сына, свое второе «я» – как ему хотелось верить – будущего продолжателя его дел...

Будущий генерал, утомленный массой новых впечатлений давно уже спал. А родители его все сидят за полуразоренным праздничным столом, не замечая, что за окном – глухая ночь, что неслышно возникающие за их спинами слуги несколько раз меняли истаявшие свечи. Напряженная тишина пристально изучающих взглядов сменяется периодическим разговором, темы которого выются вокруг дел политических годов отсутствия Румянцева в стране. Пока только об этом – они заново привыкают друг к другу.

– ...О смерти государя я узнал из писем и указов преемницы его и супруги – императрицы Екатерины I. И удивительно: она при этом лишь мимоходом касалась переговоров с султаном – ради которых я и был направлен императором в Стамбул, – зато подробно писала, каких для нее купить духов и какой привезти шатер. И это затишье... Раньше – что ни неделя, то весточка от государя: что там, да как в России, да что мне, исходя из этого, делать. А тут – ничего...

– А мне неудивительно! Тебе она приказала купить ей духов, а другие послы получили иные задания: одних венгерских вин по ее приказу закупили на семьсот тысяч рублей, да данцигских устриц – на шестнадцать тысяч! Жили весело. И сама покойница – царство ей небесное – активно вкушала все радости бытия земного, и остальные не отставали.

Как ты помнишь, Александр Иванович, императрицу нашу супруг приучил к такой жизни, а особенно к зелью веселящему – чтоб не расставаться с ней даже в компаниях, которые так любил. Вот и довеселились!

– Не смей так об императоре!

– Смею. Ты мое отношение к нему знаешь. Пока тебя дома не было, оно не изменилось. Так что говорю, что думаю, несмотря на все его заслуги...

– Не всегда говори, что думаешь, матушка. Иногда и не грех подумать, что говоришь. А отношение твое к Петру Алексеевичу знаю! Знаю, что не можешь простить ему: ты внучка и дочь самих Матвеевых по его воле вышла замуж за денщика! Хоть и царского.

– Замолчи. Мы же договорились уже давно не касаться этой темы. И ты знаешь, что ты не прав. Так я продолжу? Или тебе уже стало не интересно?

– Продолжай, пожалуйста, Марья Андреевна. И прости меня – одичал там, на чужбине...

– Хорошо, прощаю. Так вот...

Александр Иванович с прежним вниманием стал слушать свою супругу. Все, что она сейчас говорила, было правдой, и заспорил он с ней больше по привычке, привычке не рассуждать о делах Петра I, а лишь исполнять его волю, ощущая радость духовного единения с самим великим императором. Только в последнее время, избавившись волею судеб от обаяния, вносимого царем-преобразователем во все свои деяния, начал Румянцев задумываться – что же был за человек, за которого он, не задумываясь, отдал бы свою жизнь. Начал задумываться: не является ли все происходящее ныне следствием предшествующего.

Когда он еще сидел в Стамбуле, до него доходили зыбкие, размытые слухи о делах российских: приезжавшие по своим делам и по делам державным на берега Босфора люди, по обязанности или по сердечному влечению на чужбине искать своих земляков, приходили к нему и осторожно, полунамеком-полуобиняком давали понять, что неладно что-то – да и не что-то, а многое в их родном царстве-государстве. Даже здесь – удивлялся Румянцев – говорилось шепотом, с опаскою! Даже черти-де опасаются доноса и кар! Но прибыв в любезное сердцу Отечество, повстречавшись кое с кем из прежних своих друзей-приятелей и просто хороших знакомых, вместе с Петром активно строивших Империю, он увидел, что мало их осталось – ранняя смерть (не всегда по болезни), опалы, ссылки, – а те, кто еще уцелел, были очень осторожны. Приучились держать язык за зубами. Сегодня ты по глупой злобе али из высокомерия мерзкого ляпнешь про какую-нибудь персону нечто непотребное, а назавтра глядишь – она уже в фаворе, попала в случай! А тебя – болезного – в застенки! И хорошо, если только кнута попробуешь и, почесываясь, домой пойдешь... А то ведь можно и языка, и ноздрей, а то и головы лишиться за блуд словесный. Так что береженого Бог бережет. И обуяло страну безмолвие. Когда все слушают токмо начальство и головой качают – только одобрительно... Внезапно Румянцев заметил некое колыхание за портьерой. Не поленился – подошел. И что же? На него пристально взглянули глаза сына. В одной рубашке, босой, он, притаившись у дверей, судя по всему наблюдал за разговором родителей. Разбуженный непривычным оживлением в доме, он вошел неслышно. Александр Иванович поразился его не по-детски серьезному и раздумчивому взгляду. Отец, вздохнув, подтолкнул его к дверям:

– Ступай, выюнош. Время позднее, даже уж раннее. Да и разговоры эти пока не про тебя. Так что иди спать. Мы еще с тобой наговоримся, коли ты такой любознательный.

Петр молча ушел. Обернувшись к жене, внимательно вглядывавшейся в эту сцену, Румянцев спросил:

– Как дети наши, Мария Андреевна?

– Как... Росли, болели, выздоравливали, играли. А я при них. Словом, жили мы, Александр Иванович. Жили, – повторила она с вызовом.

Но Румянцев предпочел его не заметить.

– А Петр как?

– Как и все. Правда, росл да умен – как видишь – не по годам. Дичится тебя, да пройдет это – тянется он уже к тебе, привыкает. Так что ничего особенного. Жили и все...

– Жили и все... – раздумчиво повторил муж. – Ну, что ж, худо-бедно все жили. И мы жить будем. Родину не выбирают. Ради нее лишь живут и умирают, коли нужда такая придет. Будем жить, – повторил он с хрустом потягиваясь и всматриваясь в уже наступивший рассвет за окном. – А, Маша?..

Мелкий, нудный дождик сеял сквозь свое сито по всем окрестностям влажную хмарь, нагонявшую смертную тоску, когда хочется непонятно чего и понятно, что ничего не хочется. В такую погоду лучше всего спать. Но ведь не будешь же спать все время. И так вон щеку отлежал, думал Александр Иванович Румянцев, стоя у мутного окошка и барабана наперегонки с дождем по стеклу. Взгляд его пытался зацепиться за что-либо, но весь доступный его взору оком был одинаково безлик, сер и неинтересен. Может быть, это было следствием дождя, а может быть и мыслей, уже долгое время ни на минуту не покидавших Румянцева. Мыслей невеселых, наглядным подтверждением и воплощением которых был блеск штыка под навесом ворот его усадьбы. Он вызывающе сверкал сквозь мутную влажную пелену, и как ни старался отвести глаза Александр Иванович, его взгляд рано или поздно натыкался на торжествующую полоску стали.

Штык олицетворял неволю. В неволе был он, Румянцев. А ведь по приезду вроде бы так сначала все хорошо складывалось! Слаб человек: происходящее что-то дурное с окружающими он норовит объяснить зачастую их провинностями и прозревает лишь тогда, когда судьба, обстоятельства и люди обрушат на него такой же удар. И зачастую прозрение запаздывает.

По желанию Анны Александр Иванович был приглашен в столицу из своих босфорских захолустий. Императрица и ее окружение знали его нелюбовь к Долгоруким и Голицыным и поэтому хотя и почти заочно, но сразу полюбили его. А Румянцев, хотя и многое знавший про царствующих и правящих особ, положение дел в стране, поначалу с радостью принимал сыпавшиеся на него милости. Он был пожалован в генерал-адъютанты, в сенаторы, затем он получил подарок в двадцать тысяч рублей в виде награждения за приехавшую на его долю часть из состояния Лопухиных, отнятую у него Петром II. У некоторых – впрочем, у большинства – вместе с ростом пожалований пышным цветом начинает расцветать в душе холопство: им всегда мало полученного и хочется еще. У меньшей части при этих же внешних условиях начинают обостряться нравственные чувства, подавленные дотоле погоней за успехом. Теперь, насытившись, начинают думать о чем-то более высоком, духовном. Александр Иванович, опомнившись наконец от потока милостей, огляделся вокруг себя и увидел: все то, о чем ему говорили, о чем он догадывался еще там вдалеке – все так. Забыв все свои дипломатические навыки и премудрости, он начинает громко сетовать при дворе на предпочтение, отдаваемое немцам, то есть им же, да на них!

Анна, не желавшая его терять так сразу, предложила ему должность главного государственного доходов. На это Румянцев, вспомнив, что он не только дипломат, но и военный, ответил ей по-армейски прямо:

– В финансах ничего не смыслю. А если б даже и разбирался, то все равно вряд ли бы нашел способ удовлетворить безумные траты ваши, ваше величество, и ваших фаворитов.

– Вон!

Благоволение кончилось. А вскоре он не отказал себе в удовольствии лично приложить свой закаленный в житейских перипетиях кулак к изнеженной физиономии брата главного

фаворита Бирона – Карла. Чаша монаршего гнева, которую фаворит щедро доливал, памятуя собственные ссоры с черт знает зачем вызванным в Россию строптивым дипломатом – дипломат он ведь должен быть мягким! – переполнилась, и последовали державные выводы. По велению Анны он был передан суду Сената, который, демонстрируя свою лояльность верховной власти, приговорил Румянцева к смертной казни. Императрица все же помиловала его и в результате монаршего милосердия он был сослан в собственное село Чеборчино Алатырского уезда Казанской губернии.

– Че-бор-чи-но, – произносит теперь Александр Иванович, стоя у мутного окошка и от нечего делать пробуя на вкус и прокатывая между губами волнистое слово...

В 1735 году последовало высочайшее прощение чеборчинскому затворнику Александру Ивановичу, опальному Румянцеву. Все тут смешалось – и сильные заступники, и недостаток государственной мысли и размаха людей; и малость вины, забывшаяся почти за давностью лет, и внешняя покорность, регулярно доносимая по начальству охраной, выражающаяся в новоприобретенной любви к поговорке «Плетью обуха не перешибешь» (все остальное умерло в душе) – и это смешение, стало причиной того, что Румянцеву вернули чин генерал-поручика и назначили астраханским губернатором.

Астрахани везло на знаменитых людей в начальстве. То царский родственник Артемий Волинский, лихой мздоимец, которого Екатерина I, спасая, перевела в Казань, то опальный Михаил Долгорукий, опальный фельдмаршал, вскоре отставленный от своего поста.

Но на этот раз многие астраханцы так и не узнали, что у них побывала губернатором такая известная персона. Ибо назначенный губернатором Астрахани указом от 28 июля, Румянцев только 20 августа – дороги и расстояния российские! – всеижайше поблагодарил императрицу за милость и честь, а навстречу его благодарности уже неторопливо следовал новый указ от 12 августа о назначении его казанским губернатором.

Собственно, казанскими делами он занимался опять-таки крайне мало по причине назначения своего и командующим войсками, отправлявшимися против башкир, поднявших восстание в Оренбургском крае.

Еще в 1731 году хан одной из трех групп казахских племен так называемый Младший жуз – Абул-Хаир обратился с просьбой о российском подданстве. Идея была принята благосклонно. Но Абул-Хаир интересовался прежде всего практическим вопросом – как его новые владыки собираются защищать его и его народ от джунгар? Петербургу ответить было нечего, поскольку на юго-востоке Россия не располагала ни войсками, ни путями их доставки, ни операционными базами. Выходом явился план обер-секретаря Сената Ивана Кирилловича Кириллова, предложившего создать Оренбургскую экспедицию с целью защиты жуза Абул-Хаира путем – для начала – постройки крепости у впадения Ори в Яик. Кириллова и назначили руководителем экспедиции, немного химерической, поскольку предполагалось проложение охраняемых путей аж до Индии и торговля с Ближним и Средним Востоком – что ничуть не смущало начальника-энтузиаста.

Жизнь нагло и мерзко обманула Кириллова. Башкиры, недовольные тем, что на искони принадлежавших им землях строятся какие-то, им явно не нужные, крепости, учинили злонамеренные волнения. Он начал бомбардировать кабинет и Сенат донесениями, которые под благодные кивки многомудрых голов правителей и оберегателей державы, осененных завитыми париками, читает секретарь:

– Башкиры – неоружейный народ и враждуют с киргизами. Никогда не следует допускать их к согласию, а напротив, надобно нарочно поднимать друг на друга и тем смирять...

Снова одобрительные кивки... «Разделяй и властвуй!» – этот Кириллов молодец: в глухой азиатской стороне применяет принцип императоров Великого Рима! Резюме: умирительную политику междоусобиц продолжать, подкрепив ее регулярными войсками во главе с надежным руководителем. Кандидатура Александра Ивановича Румянцева возражений не

встретила. И замаршировали, захлебываясь в июньской пыли, гренадеры. Драгуны, мерно покачиваясь в высоких седлах, глядели веселее. Но также муторно – идти воевать на край света! Где земля не меряна и все чужое – любой заробеет...

– Любезный Иван Кириллович, – мягко, но придерживая незаметно уже начинавшее дрожать веко – так его допек собеседник, – почти нежно проговорил Румянцев, – целиком разделяя вашу мысль, столь часто и подробно излагаемую в Петербург о том, что должно смирать башкирцев кайсаками, а кайсаков смирать башкирцами, позволю себе спросить вас: ваш Тевкелев – он как? Специально разжигает ненависть к нам местных жителей? Ведь поначалу простые башкиры относились к нам – ну, тепло, это понятно, вряд ли, – но терпимо, то есть спокойно, я бы даже сказал, равнодушно. Что нам, собственно, от них и требуется. У них своя свадьба, у нас своя свадьба. Так, кажется, говорят в народе? А Тевкелев...

– Российский полковник Тевкелев знает, дорогой Александр Иванович, в отличие от некоторых, как нужно обходиться с бунтовщиками! И он выполняет мои приказы.

– Ваш крещеный мурза Тевкелев принесет гораздо больше вреда, чем пользы, хоть вы его и держите как главного знатока по вопросу инородцев. Он дик по натуре. Да и кроме того доказывает нам свою лояльность. Слыхали, как говорят: хочет быть святее папы римского?

– Не слыхал. И знать не желаю, чего вы там набрались за границами вашими!

– Да это наше, Иван Кириллович. Ну, не слыхали – бог с ним! Меня-то хоть послушайте: жестокостью ничего не добьешься. Нужно мягче!

– Господин Румянцев! Как начальник Оренбургской экспедиции я буду придерживаться своих методов!

– А я, господин Кириллов, как командующий войсками, своих!

Если обратиться еще раз к пословице: когда паны дерутся – у холопов чубы трещат, разногласия начальников привели к новой вспышке восстания, затронувшей и русские деревни вблизи Уральского завода. Именно с помощью этих русских крестьян, организованных в отряды, преемнику Кириллова – Василию Никитичу Татищеву удалось усмирить зауральскую часть Башкирии. Сторонник гуманных мер, он постоянно конфликтовал и с Кирилловым, и позднее с Тевкелевым из-за их жестокого отношения.

И он, и Румянцев были правы – жестокостью добивались весьма малого. Проведенная Кирилловым в 1731 году карательная экспедиция привела только к новой волне вооруженного протеста. Мягкость же гасила пламя антагонизма. Но начальству, далеко сидящему, как правило, кажется, что подобная мягкость проистекает от нерадения в защите государственных интересов. И поскольку карательные акции с их шумом, пальбой, кровью были более эффективны и благосклоннее принимаются правителями – вот он как за мое, как за свое, крови не жалеет! – то Румянцева убрали первым – назначили правителем Малороссии, быть может вспомнив его дела на Украине еще времени Петра I, когда он упразднил там гетманство и основал Малороссийскую коллегия, Татищева – вторым. Второму повезло меньше. Он был обвинен в злоупотреблениях, против которых он как раз и боролся, отстранен от дел, лишен всех званий и взят под домашний арест. Абсурдность обвинений против него, свидетелями которых выступали явные преступники, высокий суд не волновала. Когда власть намеревается покарать очень ретиво отстаивающих государственный интерес подданных, примером своим показывающих неблаговидность деяний вышестоящих, – тут уж не до логики. Хоть какое бы дело слепить. Ведь недаром говорят: закон, что дышло – куда повернул, туда и вышло!

Румянцев расставался с Казанью, сдавая дела новому хозяину губернии – князю Сергею Дмитриевичу Голицыну, сыну одного из руководителей Верховного тайного совета. После воцарения Анны Ивановны он жил безвыездно в своем дворце в Архангельском, куда и держал сейчас путь Александр Иванович, уважив просьбу князя Сергея и собираясь передать привет сына отцу. С собой к старому князю он взял только Петра, которому и рассказывает о князе Дмитрие Михайловиче, о его брате – фельдмаршале Михаиле Михайловиче-старшем:

– Как ты помнишь, не было у императора более страшного и несносного врага, чем король шведский Карл XII. Война наша со Швецией шла долгие годы. И вот в самом ее начале, когда молодая русская армия еще редко выигрывала сражения у шведов Петр Алексеевич послал князя Михаила Голицына отобрать у Карла одну из самых сильных крепостей, ту, которую он потом назовет Шлиссельбург – ключ-город. Было это осенью 1702 года. Русская армия не смогла сразу взять крепость и начала осаду. Начались морозы, пошел снег! Голицыну привезли приказ Петра: снять осаду и отступить, а он только-только все приготовил к штурму. Тогда князь и говорит курьеру: скажи, мол, Петру Алексеевичу, что я теперь уже не в его власти, а принадлежу единому Богу!

– Ну а дальше?

– Дальше... Был штурм. Голицын сам возглавил штурмовую колонну. Шведы пытались, очень пытались сопротивляться – им еще было в диковинку, когда русские их били. Но все же крепость пала. С тех пор – и навсегда – она русская.

– А государь? Не обиделся за эти слова?

– Может, и обиделся, не знаю. Поначалу мог обидеться. Но Голицын ему подарок такой сделал... Так что князь был щедро пожалован.

– А князь Дмитрий Михайлович воевал?

– Князь Дмитрий Михайлович и так перед державой заслуг имеет предостаточно. И смотри – уже подъезжаем – язык там не распускай. Старый князь строг. Братья при нем без разрешения сидеть не смели. Понял?

– Понял.

– Молодец. Вон, смотри, уже и дворец Голицына.

Подъехавшую карету встретили проворные казачки, так что Румянцевы не успели и оглянуться, как оказались пред строгими очами хозяина. Первые приветствия и поклоны нарушили немного холодную чинность, но легкая скованность у Румянцевых так и не прошла во весь разговор, весьма короткий.

– Куда путь держите, генерал?

– На Украину, ваше сиятельство.

– Да, бывал... Изменилось там все, поди. Многое в державе переменялось за последние-то годы... И тебя, вот, простили...

– И вас, глядишь, ваше сиятельство.

– Не юродствуй! И не ври – кому врешь-то? Не простят меня. Чувствую, скоро возьмутся за меня. И не так, как раньше. Да и не нуждаюсь я в прощении их. Нет моей вины перед совестью своей и державой! Сделал все, что мог, хотя, может быть, надо было иначе немного. Но ведь хотел как лучше!

– Все хотят как лучше, ваше сиятельство. По крайней мере на словах.

– Обиделся... За то, что одернул тебя за комплименты твои чересчур дипломатические. Или думаешь, почему спросил тебя о прощении? Так не обижайся. Верю я и знаю, что не изменился ты, иначе бы и на порог не пустил – мне тут весточку от Сергея уже передали – а потому спросил, чтобы и ты сам понял, почему так милостивы к тебе. Опору они, Бироны эти, Минихи, Остерманы и прочий сброд чужеземный, ищут в склоках своих в знати нашей, природной. Ибо поняли, что не опасна она им – Петр-то Алексеевич-то насадил все-таки, как и хотел западные привычки своим ближним, ближним ко двору. Так что близ трона и будешь, мжуй, отечество любивших, искать – ан, глядишь, один-два... А еще, мол, где? Нету! Как Диоген будешь ходить, а никого и не найдешь. Поэтому и простил тебе старый грех, хоть и ругал ты немцев – что ты сможешь один? Да и смирился, они считают, ты уж.

– Так что же, ваше сиятельство, и будет так? И делать ничего уж нельзя?

– Нам нельзя. Свой шанс мы упустили. Но Россия велика. Петр-то император, только корочку сколол, а озеро-то глубоко! И что-то там делается! Должно деяться! Иначе во имя

чего все муки русские, слезы, кровь, пот наш? И напрасно тогда громил степняков Святослав, напрасно выводил Донской свой народ под татарскую конницу, напрасно сдавали последнее в казну Минина! Святослав говорил, что мертвые сраму не имут. Это, когда они сделали все, что было в их силах и даже больше. А когда покорно подставляли шею под ярмо – тогда имут. И грех их перейдет на детей их, и дети их, рабы, – будут проклинать их!

Князь откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Помолчал, и, не отворяя век, добавил: – Запомни это, юноша! Тебе жить еще долго – значит, и дел за тобой много. Человек делами своими красен. Делами, на пользу отчизне своей. Ибо что мы оставляем, покидая этот мир? Голыми мы родились – голыми мы и уйдем. От нас остается память. Худая ли, добрая, но только она. Идущие после нас оценят деяния наши. Сквозь все лжи истина пробьется! Не может не пробиться, ибо без нее – не жизнь. И тогда суд людской на весах совести замерит свершения наши. И либо проклянет, либо забудет, либо восславит. Живи так, чтобы, умирая, быть уверенным в этом суде.

И после паузы:

– Ступайте. Устал я. Моя хозяйка вас чаем напоит. Прощайте!

Румянцевы поцеловали сухую руку Голицына, без движения лежавшую на подлокотнике, и тихо вышли из кабинета.

В гостиной уже хлопотала хозяйка, как назвал ее старый князь, – маленькая княжна Екатерина, дочь фельдмаршала Михаила Михайловича, племянница хозяина. Она пыталась как-то оживить разговор, рассказывая обо всем, что ей, ребенку, казалось смешным и интересным, но гости задумчиво молчали, отвечая как-то довольно сухо. В карете разговор тоже не завязался. Отец все повторял слова старого князя про себя. Этим же занимался и сын. Только иногда перед его глазами вместо безжизненно лежавшей руки Голицына вставали глаза его племянницы и ее ласковая полуулыбка. И как он ни тряс голову, эта картина преследовала долго, правда, постепенно делаясь все более и более блеклой, пока не стерлась совсем. Это старость помнит долго. Юность еще забывчива.

Вскоре Дмитрий Голицын по приказу Анны был ложно обвинен и заточен в Шлиссельбург, взятый штурмом его братом во благо России и во славу ее! Он умер в камере через три месяца.

Румянцевы узнали об этом только по прошествии долгого времени. По приезде в Малороссию Александр Иванович отправился в Глухов, где располагалась главная квартира армии, участвовавшей не всегда успешно в очередной русско-турецкой войне под командованием Миниха, незадолго до этого получившего фельдмаршальский жезл. Миних был в России со времени Петра I. Император, охотно привлекающий иностранцев, вытаскил из европейского небытия эту своеобразную фигуру – как, впрочем, и все заморские авантюристы, ловящие в России фортуна за хвост. Начав в 16 лет службу во французской армии, он потом перешел в Гессен-Дармштадтский корпус, потом – Гессен-Кассельский, потом – к Августу II, саксонскому курфюрсту и польскому королю, потом долго колебался между Петром I и Карлом XII, но смерть последнего бросила его в объятия России. Ныне он был Российским главнокомандующим.

Румянцев, понимая, что по случаю войны его генеральский чин наведет начальство на размышления, спокойно воспринял свой вскоре последовавший перевод в действующую армию, хотя и засомневался про себя в своих военных талантах. Но, по-видимому, это беспокоило только его. И вскоре Александр Иванович понял почему. Понял, когда более подробно узнал о предыдущей кампании той войны, шедшей уже второй год.

В этой кампании Миних взял штурмом Перекоп, захватил Хозлейв, разгромил столицу татар Бахчисарай, Ахмечти, но был вынужден отойти, поскольку крымцы боя принимать не желали, предпочитая совершать многочисленные конные атаки. Миних вывел из Крыма половину армии, не добившись ничего.

На следующий – 1737 год – уже при активном участии Румянцева, командира одной из трех пехотных дивизий, русские войска штурмом взяли Очаков – сильную турецкую крепость. Александр Иванович при этом командовал правым крылом армии. Но поскольку фельдмаршал приказал взять крепость не имея достаточных припасов, осадной артиллерии, не говоря уже о плане кампании, то армия понесла такие потери, что мало нашлось удивляющихся, когда на другой год Миних вынужден был отступить, оставив Очаков, столь щедро орошенный кровью русских солдат, и заодно бросив всю тяжелую артиллерию.

Лишь кампания 1739 года принесла русскому оружию победу. Сначала в июле был разбит под Славутичем 30-тысячный корпус сераскира Вели-паши. Два дня спустя сдался Хотин. В начале сентября Миних форсировал Прут и занял Яссы. Но тут скверную шутку с Россией сыграла союзница Австрия. Терпя периодические поражения от турок, она потерпела очередное и сокрушительное – при Дунае, потеряв двадцать тысяч войска, и новый главнокомандующий австрийцев Нейперг поспешил заключить с Портой сепаратный мир, отдав ей все, что можно и даже немножко больше. Нейперг был предан суду, но дело было уже сделано. Миних требовал продолжать войну, но страна была настолько истощена, что желающих поддержать его в правительстве не нашлось. Последовали переговоры с турками, в результате которых после всего, чем она пожертвовала, Россия добилась лишь возвращения себе Азова, да и тот подлежал – согласно договору – разрушению.

Но все же это была какая-никакая, а победа, и праздновали ее весьма пышно. 27 января перед Зимним дворцом проплывало церемониальное шествие войск. Колыхались знамена, гремела музыка, шляпы офицеров украшали лавровые венки. Потом начали раздаваться подарки. Бирон, явно никакого отношения к войне не имеющий, получил золотой кубок с бриллиантами, с лежащим в нем указом о выдаче полумиллиона рублей. Миних и все генералы получили золотые шпаги, а Миних – еще и пять тысяч ежегодного пенсионера. Волынский – лицо в данном случае штатское – был награжден 20 тысячами. Румянцев, в это время уже генерал-аншеф, получил заново подполковника Преображенского полка и чин статгальера (правителя) Малороссии, которым он так и не воспользовался. Вскоре после празднеств он вновь был назначен на привычный ему пост посла в Стамбуле. Он едва успел проститься с сыном – Петр приехал в начале мая – как пора было ехать. Отъезд произошел через несколько дней – 20 мая.

Александр Иванович, правда, успел из разговоров с сыном понять главное, хоть разговоры и были эти кратки... Петр приехал из Берлина, куда отец отправил его еще в прошлом году, и именно Берлин и был главной темой их беседований...

– Ох, Артемий, правильно говорят: поделом вору и мука. Нешто я тебя не предупреждал, да и книги ты разные, поди, читал все-таки. А там что пишут? Помнишь? Красть – там пишут – нехорошо, грешно! А ты нарушил заповедь-то, Артемий, нарушил. И за это – гордись! – накажу я тебя своеручно. Ибо надеюсь я выбить из тебя дурное и вложить хорошее! – С этими словами царь Петр поднял свою суковатую дубину, и она исправно заходила по покорно склонившимся дрожащим плечам корыстолюбца...

Кабинет-министр Артемий Петрович Волынский уж который раз за последнее время жалобно застонал и вскинулся на кровати, окончательно и сразу проснувшись. Весь в холодном поту. Один и тот же сон преследовал его из ночи в ночь. «Быть беде, – как-то тоскливо-обреченно подумал Волынский, поняв, что уже не уснуть и решивший лучше от греха почитать. – Не к добру сие, чтобы этакое видеть не единожды». Когда-то такое, действительно, с ним произошло, но было это так давно, а помнить об этом так не хотелось, что Артемий Петрович как-то последние годы совсем и не вспоминал, даже мысленно, данный казус. «Может, из-за Тредиаковского? – подумалось мимолетно. – Да нет, вряд ли, – успокоил себя. – А дубинка-то у власти тяжелая», – как-то некстати вспомнил он сонные свои муки и, чтобы окончательно изгнать смятение полусонных мыслей, позвонил в колокольчик. На пороге бесшумно возник лакей.

– Свечей и квасу, – бросил Волынский и, через несколько секунд получив искомое, уселся поудобнее, открыл книгу и погрузился в яркий, беспечальный, всегда удачливый мир рыцарских походов. Но мысли постоянно отвлекали от удачливого книжного персонажа, который в конце концов сквозь все тернии прорывался к звездам, к такому же пока удачливому герою в жизни – самому Артемию Петровичу. Удачливость закономерно порождает вопрос: до каких пор? До каких пор фортуна будет опекать своего блудного сына, постоянно рубящего сук, на котором сидит, а ныне замахнувшегося на самое святое, что нынче есть в России – на самого Бирона. Отсюда и тоска, и мрачность, и дурные сны. И даже трудно это было назвать игрой. Он жил этим. Жил полноценно, может быть, впервые за всю свою бурную и пеструю карьеру, сознательно рискуя всем во имя высоких целей, обычно в его повседневной борьбе под солнцем – как, впрочем, и для подавляющего большинства людей – не особенно и нужных-то. А было в этих повседневных схватках многое...

По своей первой супруге – Анне Нарышкиной – Волынский приходился родней Петру I. Проучив своего проворовавшегося родственника, Петр направил его сначала послом в Стамбул, а потом назначил командовать войсками, отправляющимися в поход на Персию. И там, и там, неожиданно для всех знавших его, он блестяще справился со всеми заданиями. Не удивлялся один лишь царь, уже неплохо изучивший Волынского и увидевший в нем талантливого к делам человека. Потом было губернаторство в Астрахани и Казани. В 1730 году – он автор одного из многих конституционных проектов. Анна после своего воцарения всех этих прожектеров не жаловала, и быть бы Волынскому опять биту – и на этот раз гораздо серьезнее – но он благодаря своим родственным связям с одним из новых любимцев императрицы Салтыковым, сыгравшим важную роль в ее возведении на престол, сумел увильнуть от этого. И зная о любви Бирона к лошадям – о нем говорили, что о лошадях судит как человек, а о людях – как лошадь – Артемий Петрович пристроился в конюшенное ведомство, дабы быть поближе к животворному вниманию – благоволению фаворита.

Расчет оправдался: когда умер кабинет-министр Ягужинский, бывший Пашка Ягужинский Петра I, назначенный при нем генерал-прокурором Сената, обижаемый верховниками, за что его сразу возлюбила Анна, то Бирон двинул на это место Волынского. При этом – откровенный и прямой человек, когда дело касалось нелицеприятных характеристик нижестоящих – фаворит заявил:

– Я хорошо знаю, что говорят о Волынском и какие пороки он имеет, но разве среди русских можно найти более лучшего и более способного человека?

Желающих спросить у Бирона, чем же – в положительную сторону – отличаются стоящие вокруг него тесно сомкнутыми шеренгами иностранцы, не нашлось, и этот риторический вопрос вошел в историю.

Свою лепту в определение политико-нравственной физиономии Артемия Петровича внес и сам Ягужинский, чувствовавший, что на императрицыных конюшнях дожидается своего часа его преемник:

– Прядвижу, что Волынский проберется в кабинет-министры, – посредством лести и интриг. Но не пройдет и двух лет, как принуждены будут его повесить.

Сурово, но в некоторой мере справедливо. Конечно, Волынского трудно назвать идеалом, но ведь жизнь и судьба зачастую не выбирают и делают своих героев не из рыцарей без страха и упрека, а из того материала, который есть в данный период в наличии, который попадает под руку. И среди них могут оказаться всякие люди – поскольку все живые, обладающие, кто больше, кто меньше, достоинствами и недостатками – но, ощутив свое предназначение, они очищаются пламенем жертвенности, и короста предыдущих неблагоприятных деяний сползает с них, как шкурка с царевны-лягушки. Так постепенно происходило и с Волынским.

Поначалу озабоченный – как и многие из современников его – мыслями о благах сугубо материальных, он, достигнув, можно сказать, вершин служебной лестницы, почувствовал в

полной мере вкус к делам державным, когда первое место в его миропонимании заняли вопросы государственные, требовавшие скорейшего и единственно-правильного решения. Это неминуемо привело его к зыбким патриотическим кругам, ибо засилие иноземцев было вопиющим, а их отношение к стране одиозно-утилитарным.

Человек тридцать собиралось в его доме, где хозяин – как человек способный и государственно мыслящий – зачитывал им, комментировал и подбивал на споры по своему «Генеральному рассуждению о поправлении внутренних государственных дел».

– Господа, – торжественно говорил Артемий Петрович, обводя блестящими глазами достаточно представительное собрание, – я убежден, что все важные государственные должности должны непременно занимать дворяне.

Уловив недоуменно-недовольное шевеление Нарышкина и Урусова, представителей самой высокой знати, поспешил разъяснить:

– Под дворянством, господа, я, разумеется, понимаю всех лиц благородного происхождения, не отчленяя и нынешних потомков достойного боярства. Но встает вопрос: каким образом возможно пробудить державные чувства дворянства, когда наше время дает пример как раз – наоборот, всеобщего наплевательства? Выход один – предоставить дворянству возможность действительно решать судьбу отчизны. А для этого должно расширить состав Сената, подкрепив его лучшими людьми благородного происхождения, передать им и все должности канцелярские, дабы не думали ныне сидящие там, что они – пуп земли и без них все замрет. Нет, господа, они ошибаются! Дворянство само в состоянии управлять державой полностью.

– Артемий Петрович, – вмешался, не выдержав, Хрущов, – а чем государство жить-то будет?

– Резонный вопрос, господин Хрущов. Мое «Рассуждение» предполагает поощрение отечественных – повторяю, отечественных – промышленности и торговли. Тарифы и уничтожение всех внутренних препон – это, я уверен, дает государству недостающие богатства. Государство при правильном управлении непременно, я уверен, должно богатеть. Но управление должно быть разумным. Ныне же правят у нас люди недостойные. Государыня наша не сказать, чтоб особенно была умна, проще говоря – дура, да и правит ведь, вы знаете, не она, а герцог Курляндский, ныне который уж совсем к короне явно подбирается. План свой давний – женить племянницу императрицы на сыне своем он не отставил... «Годуновское» это намерение, господа. И не шушукайтесь, пожалуйста. Герцог знает об этом моем отношении.

– Недаром он так к вам холоден!

– Совершенно правильно, Петр Михайлович. И так от немцев не продохнуть – так нам еще немца на престол не хватало! Нешто мы такие глупые, что сами не справимся? Надо просто своих дворян учить лучше, дабы они готовы были взять бразды правления в свои руки. Попервоначалу можно будет и за границу их посылать для учения. Зазорного здесь ничего не вижу – каждый народ умен, и учиться друг у друга никогда не грех. Но учиться, когда сам ощущаешь, что нужно сие, а не когда менторы твои, от чванства и гонора раздувающиеся, учат тебя, недоросля темного и неумытого, премудростям европейским. Впору тогда спросить: каков же тогда сам учитель, что светильник разума, кой должен нести незнающим сие еще, пытается обернуть в огонь, на котором ему жертвенных тельцов поджаривать учнут? Подлинно знает он нужное или токмо пыль в глаза пускает? А при правильном обучении недорослей дворянских у нас и свои природные министры со временем будут.

– Скажите, Артемий Петрович, – спросил из своего кресла покойно сидевший Федор Соймонов, – все, что вы говорите – это хорошо, правильно, со всем этим я согласен. Но это все в общем. А вот, так сказать, ежели взять ваши планы помельче: как будет государство в губерниях-то управляться? Ведь сами знаете – государство богатеет, когда налоги собирает, а то ведь и на образование недорослей наших не хватит.

– Федор Иванович, предполагаю я восстановить воевод и не сменять их. Налоги им будет собирать в этом случае сподручнее.

– А вот Василий Николаевич Татищев, как раз, наоборот, говорит, что бессменные-то воеводы-губернаторы погрязнут в мздоимстве.

– Ну, сами посудите, Федор Иванович! Скажем, он знает, что его менять-то не будут, он и будет брать умеренно – чтоб и на другой год осталось. А ежели он сидит, а на другой год уже тут его не будет? Так он после себя пустыню оставит.

– Да ведь, Артемий Петрович, это чтобы воевода ваш о завтрашнем-то дне своем думал-то, он умным человеком должен быть, а ежели – пока мы министров своих не воспитаем – не наберем столько? Может, прав Василий Никитич: говорит он, что не воеводы по губерниям нужны, а коллегии крепкие? Где губернатор – один из коллегии.

– Умных мы наберем, Федор Иванович. На Руси их хватит. А коллегии эти анархию породят. Советовать многие любят, а отвечать один должен. Россия всегда была сильна монархией.

– Это после Батые.

– Так и Батый-то сумел прийти, что власть великого князя зашаталась.

– Власть власти рознь, Артемий Петрович. Русь наша древняя была сильна не только князем, но и советом бояр с дружиной, и вечем Новгородским. Вы же сами говорите: пока интерес державный в дворянстве не разбудим – государству сильным не быть. Ну, да это и потом домыслить можно будет. А вот за смелость вашу перед Бироном – низкий вам поклон от всех нас.

– Благодарю вас, господа. При первом же благоприятном случае представлю государыне мысли о ближайших ее. Быть может, слова мои убедят ее искать достойных...

Случай представился летом 1738 года.

– На кого метишь? – жестко спросила Анна Ивановна, рассмотревшая замаскированный упрек отнюдь не за лучший выбор своего окружения.

– Куракин, но больше всего Остерман, ваше величество, и Бирон.

– Письмо с советами подаешь, как будто молодых лет государю! Из Макиавелли это вычитал?

– Ваше величество, я...

– Ступай!

Благоволение было потеряно, но время шло, а Бирон все медлил с выводами, которые он мог бы подсказать больной уже давно и тяжело императрице. Волынский занялся устройством торжественного действия, прошедшего почти сразу после торжеств по случаю заключения мира с Турцией, в ходе которого был создан знаменитый Ледяной дом – чудо умелых рук мастеровых и неизгладимый позор для русских, окружавших трон; и не одних царедворцев – были унижены не только непосредственные участники, но и все те, кто был свидетелем этого действия.

Анна Иоанновна пожелала поженить одного из своих шутов – князя Михаила Алексеевича Голицына, прозванного «Князь-квасник», поскольку в его обязанности входило и подавать императрице квас, и шутиху Анну Буженинову, названную так по ее любимому кушанию – буженине.

В качестве дворца молодым построили дворец из льда, куда их сопровождали представители различных народов, населяющих Россию, собранные по приказу Анны Иоанновны, желавшей развлечься видом своих подданных. Развлекаясь и развлекая, в это празднество ракеты во время фейерверка специально пускались в зрителей, отчего, как сообщали об этом официальные «Санкт-Петербургские ведомости», «слепой страх овладел толпой; она заколыхалась и обратилась в бегство, что послужило к радости и забаве высокопоставленных лиц при дворе Ея Императорского Величества, присутствовавших на празднестве».

За организацию празднества Волынского похвалили, но тучи стучались. Куракин, запомнивший характеристику, данную ему кабинет-министром, подговорил Тредиаковского напи-

сать стихотворную сатиру на Артемия Петровича. Поэт – в расплату за свое творчество – был дважды бит Волынским. После очередного столкновения с Волынским герцог поставил перед Анной вопрос четко и ясно: «Или я, или он». Императрица выбирала проверенного старого друга. Третьяковскому посоветовали поискать в суде правду, Бирон сразу оскорбился – поскольку второй случай битья был у него дома – в святом чувстве гостеприимства. Волынского арестовали и только уже в тюрьме предъявили настоящие обвинения. Были арестованы и его ближайшие сподвижники. 27 июня 1740 года чиновничьей скороговоркой с лобного места прозвучало:

– За важные и клятвопреступные, возмутительные и изменнические вины...

Волынскому отсекли сначала руку, потом голову. Еропкину и Хрущова обезглавили, еще несколько человек били кнутом и сослали в Сибирь.

– Ваше императорское величество, всепокорнейше доношу, что согласно вашей воле дворянин Петр Румянцев прибыл в Берлин. Согласно волеизъявления вашего величества обещаю и клянусь его в потребных молодому человеку науках добрыми и искусными учителями наставить, о чем впредь далее обстоятельно доносить буду. Бракель. Писано в Берлине 1739 года, октября 6-го дня.

Человек, читавший реляцию покойным, размеренным, обезличенным голосом – его дело лишь читать, оценить без него есть кому! – осторожно поднял глаза. Императрица Анна Иоанновна сидела, умиротворенно покачивая головой. Бирон стоял рядом с камином, облокотившись на него плечом и чему-то своему усмехаясь. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием медленно сгорающих поленьев.

– Ох, ты меня прямо-таки в сон вогнал. Читаешь, как пономарь. Ну-ко зачти мне наново, что там мы писали Бракелю о Румянцеве-младшем. И ты, Иоганн, вспомнишь – ведь ты хлопотал о нем, – обратилась она и к Бирону. Тот утвердительно наклонил голову, так и не оторвавшись от камина.

Действительно, Александр Иванович Румянцев, возвращенный из ссылки, был весьма любезен со всеми, а особенно с Бироном и только сыну говорил: «Плетью обуха не перешибешь. Будем просто служить отчизне, а жизнь свое возьмет. Сегодня ты на самом верху – завтра в самом низу. Фортуна!

И делая практический вывод из этого фаталистического заявления, решил обратиться именно к всесильному Бирону за помощью в устройстве будущей судьбы сына. Польщенный смирением Румянцева временщик похлопотал за Петра, которого отец для пополнения его знаний и приобретения необходимых навыков по службе просил отправить с жалованием в русское посольство в Швецию или другое европейское государство, дабы он еще мог познакомиться с порядками и обычаями иноземными. Петра направили в Берлин.

Раздалось осторожное покашливание писца.

– Читай!

– Господин действительный тайный советник! Снисходя к просьбе генерала Румянцева, сын его отправляется дворянином посольства к вам, дабы вы его при себе содержали и как в своей канцелярии для письма употребляли, так и в прочем ему случае показывали, чтобы он в языках и других ему потребных науках от добрых мастеров наставлен был и искусства достигнуть мог, дабы впредь в нашу службу с пользою употреблен был.

– Хорошо, ступай!

Чтец поклонился сначала Анне, потом – не менее истово – Бирону и неслышно выскользнул в дверь.

– Вот видишь, все получилось, как ты хотел. Это младший Румянцев постигнет в Берлине всякие науки. Хотя я и не люблю, честно признаться, Румянцева, но всегда готова сделать тебе приятное.

– Благодарю вас, государыня. Я, как и вы, тоже не симпатизирую этому человеку. Но пусть он знает, что мы можем все, а он без нас – ничто!

– Ну, ладно, ладно. Посмотрим, как там теперь наш маленький протеже будет постигать все то, о чем там горячо ратовал его отец. А впрочем, это не наша забота. Подай мне ружье! – Страстно любящая стрельбу Анна Иоанновна распорядилась во многих дворцовых покоях развесить на стенах ружья и частенько любила с ними позабавиться... В заграничах Петр пробыл недолго – запросился домой, и отец отдал его на обучение в кадетское училище.

Учеба продолжалась не особенно долго – 17 октября 1740 года императрица Анна Иоанновна скончалась. Императором объявлялся двухмесячный Иван Антонович, сын ее племянницы. Регентом при императоре становился Бирон. В эти решающие дни новому регенту было не до мелочей. И 24 октября 1740 года кадет Петр Румянцев был пожалован в подпоручики.

Бирона с регента буквально днями отпихнул Миних. Но – тоже не надолго. Его оттер Остерман. Но рядом с Анной Леопольдовной выдвигалась и фигура графа Линара, посланника саксонского двора и – как становилось все более очевидным – фаворита регентши. Знакомство их датировалось еще 1735 годом, и теперь уже никто не мог служить им препятствием. Круговерть интриг продолжалась. И все громче раздавались в гвардейских казармах голоса:

– Да здравствует дочь Петрова, матушка наша Елизавета!

Приближалось двадцатилетие Ништадтского мира, заключенного еще Петром Первым и выведшего Швецию из победоносной для России Северной войны, и в воздухе, казалось опытным людям, все отчетливее носится запах пороховой гари, железа, крови и смерти. К несчастью, посланник в Стокгольме Бестужев-Рюмин не мог быть отнесен к подобным провидцам, ибо, давно извещая о военных приготовлениях Швеции, о денежных субсидиях для этих целей Франции и, вероятно, Пруссии, он тем не менее оптимистично уверял, что причин для беспокойства у России нет. В июне 1741 года Бестужев уже так не считал, но было поздно: Швеция развернула открытую подготовку к войне, и в августе, после окончания затянувшихся сборов, война была официально объявлена.

Швецию толкали на эту войну, но надо признаться, что шведская аристократия, снедаемая идеями реванша, давала себя подталкивать весьма охотно... Потом было несколько сражений, где шведы потерпели поражение.

Вскоре Румянцев получил капитана и роту, во главе которой участвовал во взятии Гельсингфорса, произошедшем в кампанию следующего 1742 года, почти через год после начала войны – 24 августа. Вскоре был взят и город Або, где начались мирные переговоры, вести которые было поручено старшему Румянцеву – Александру Ивановичу. Только что подписавший в Стамбуле мирный договор с Османской Портой, теперь должен был дать мир России и с севера.

Швеция колебалась. Дабы убыстрить мыслительные процессы ее правителей, Ласси на более чем ста кораблях повел морем десант из 9 пехотных полков – бить врага на его территории. Этого демарша оказалось достаточно, чтобы выгодный России мир был заключен.

Известие о нем повез в Петербург Петр Румянцев, вскоре после Гельсингфорса ставший флигель-адъютантом отца. Опытный дипломат рассудил безошибочно.

– Ваше императорское величество. Имею честь доложить, капитан Румянцев с депешей из Або.

– Что там, капитан?

– Мир, ваше величество!

– Благодарю вас за приятное известие. Вы сказали, ваша фамилия Румянцев? А Александр Иванович?

– Это мой отец.

– Ах вот как! Дипломат, дипломат. Ну что ж, еще раз благодарю. Вы свободны, полковник!

Итак, счастливый гонец монаршим волеизъявлением был пожалован – минуя секунд-майорский, премьер-майорский и подполковничий чины – сразу в полковники. От роду полковнику Румянцеву было годов – восемнадцать.

Мир был заключен, и награды по этому случаю раздавались уже при новом российском монархе, пришедшем на смену малолетке Ивану Антоновичу – при императрице Елизавете Петровне.

Переворот, возведший ее на престол, произошел в ночь на 26 ноября 1741 года. В силу входили новые люди нового царствования: Лесток – этот, правда, ненадолго, Разумовский, братья Шуваловы. Безродные поначалу, они скоро становились баронами, графами, князьями...

## Глава II. Обретение себя

Абоский договор сделал Петра Румянцева не только полковником, но и графом, ибо главный его дипломатический виновник – Александр Иванович Румянцев – был пожалован графским достоинством по нисходящей, то есть со всем своим потомством, с девизом по латыни «Non solum armis», что означало «Не только оружием».

Несмотря на резкое изменение своего положения, полковник граф Румянцев продолжал эпатировать столицу молодецкими выходками – как до этого Берлин, Выборг, Гельсингфорс. Как-то раз Елизавета Петровна, узнав об очередной проделке младшего Румянцева, отправила его к отцу для примерного наказания. Тот приказал подать розог.

– Да ведь я – полковник!

– Знаю и уважаю твой мундир, но ему ничего не сделается: я буду наказывать не полковника, но сына.

– Батюшка, раньше вы так не поступали.

– Верно, – вздохнул отец. – И теперь об этом жалею ежедневно и еженощно. Верно говорится: «Любя и потакая чаду своему, мы его губим». Если бы я это делал своевременно – разве ты позорил бы сейчас мои седины? Воистину ты – как притча во языцех. Уже дня не пройдет, чтоб императрица не поинтересовалась: что ты еще учудил? Но лучше поздно, чем никогда. Прошу! – и сделал по направлению лавки широкий приглашающий жест.

Свист розог, осторожное кряхтение. Наконец полковник, почесываясь, встает.

– Благодарю, батюшка, за науку.

– Не за что, сынок. Всегда готов поделиться с тобой всем, что имею и знаю. Пшел вон.

Вскоре после сего вразумления Петр Румянцев получил под свое командование Воронежский пехотный полк...

Отец все считает его маленьким – хочет пристроить получше. Теперь вот надумал женить. И ладно бы только он. А то и императрица, запомнившая его, тоже желает ему счастья. Счастья, какое видится им самим. Он вновь взялся за письмо отца: «Такой богатой и доброй девки едва найти будет можно... Ее богатеe сыскать трудно. За ней более двух тысяч душ, и не знаю не будет ли трех! Двор Московский... каменный великий дом в Петербурге... Конский завод и всякий домашний скarb».

Разумеется, он помнил эту сейчас намечаемую невесту. Дочь Артемия Волынского Мария действительно считалась богатейшей невестой России. Елизавета Петровна вернула ей все конфискованное у ее отца и еще добавила от себя. И девушка ничего – симпатичная, спокойная. Но не лежит у него к ней сердце! До сих пор – после всех его походов – он с закрытыми глазами может вообразить себе лишь одну – ту девочку Катю Голицыну, которая в доме опального верховника Дмитрия Михайловича Голицына угощала их с отцом чаем. Сколько лет прошло, а он все помнит. И решив для себя, что жениться он будет только по любви, Румянцев не поехал на смотрины в Петербург, и дело на этом и прекратилось.

А вскоре полк Румянцева перевели в Москву...

Знать в основном вся была в Петербурге – поближе к трону, живущих в Москве было не так уж и много, и поэтому нет ничего удивительного, что Петр Румянцев скоро перезнакомился с большинством из них. А кое с кем он уже и был знаком.

– Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Вы помните меня?

– Конечно, я поила вас чаем. Дядя был еще жив...

– Мир его праху. Я до сих пор помню вкус этого чая.

– Да? А мне тогда показалось, что вы пьете лишь из вежливости.

– Нет. Просто я отвлекался.

– Да, разговор с дядей – вы с вашим батюшкой тогда долго у него пробыли...

– Не только, Екатерина Михайловна...  
– А что же еще? Дорога?  
– И это тоже. И снова не все. Мне запомнилась тогда и девочка – хозяйка в доме.  
– Полно вам, Петр Александрович! У нас хоть и не столица, но кое о чем мы также наслышаны.

– Не смею отрицать. Но ведь вы знаете тогда и то, что это были планы ее величества и отца. Я здесь ни при чем.

– Мы наслышаны не только о Волынской.

– Ах, ну да. О чем же еще говорить, если не мыть кости ближним и дальним, знакомым и незнакомым!

– Особенно когда они этого заслуживают!

– Вы улыбаетесь? Слава богу. Больше всего мне не хочется именно в ваших глазах предстать чудовищем.

– Что вам до моего мнения? Сегодня вы здесь, а завтра – уже нет.

– Я хотел бы возвращаться сюда всегда.

– Вот как? И это вы всерьез?

– Совершенно серьезно, Екатерина Михайловна.

– Знаете, Петр Александрович, то место, где тебя ждут, должно быть единственным местом, а не очередным. Только в этом случае можно надеяться, что двери для тебя будут открыты, очаг гореть, а стол – накрыт.

– Знаю, Екатерина Михайловна. Наверное, это и есть счастье.

Через год – в 1748 году – они поженились. И в этом же году полк Румянцева во главе со своим командиром в составе корпуса Репнина принял участие в походе на Рейн – в поддержку недавно вступившей на австрийский престол императрице Марии-Терезии. Русский корпус, появившись в Европе, подкрепил права австрийской императрицы и добился временного замирения в центре Европы.

Вскоре по возвращении из похода его отец, генерал-аншеф и кавалер Александр Иванович Румянцев скончался.

Отныне он оставался единственным мужчиной в семье. Время беспечной юности минуло навсегда.

Это сказалось и на его службе. Раньше плывший, в общем-то, по течению, он теперь всерьез увлекся военной наукой, постепенно вспоминая когда-то прочитанное, увиденное, услышанное. Обдумывая и анализируя это. Доставал и новые книги. И скоро уже с четкой уверенностью осознания говорил офицерам:

– Господа, приверженцы господствующей сейчас линейной тактики не учитывают, что победа лишь в редчайшем случае – если брать сражения всех великих – достигается мерным сосредоточением в нужное время в нужном месте подавляющего преимущества. Медленное движение пехоты и кавалерии не в силах дать этого. Особенно – при построении в линии. Колонны более мобильны и компактны, а стало быть, более страшны неприятелю, поскольку позволяют нанести неожиданный удар.

Теперь о холодном оружии. Конечно, я не ратую безоговорочно за седую старину и признаю роль огненного боя, но лишь когда сие оружие в надежных руках, в умелых. Пальба впустую бессмысленна и опасна, ибо противник, побывав под нашими залпами и не понеся потерь, лишь разъярится, наши же солдаты, произведя пальбу и не видя ее результатов, упадут духом. Другое дело – массированный удар холодным оружием. Дело офицеров при этом – не дать солдатам дрогнуть в первый момент, далее же – священное очищение боем, его азарт сами сделают все необходимое.

Это было непривычно, хотя и не так уж и сложно. Это почти лежало на поверхности, и кажется, что ты сам мог бы до всего этого додуматься – но лишь тогда, когда первый, подняв-

ший это, растолкует тебе. Кто-то принимал правоту Румянцева, но многие – и нет. Семилетняя война убедила маловеров.

Граф Алексей Григорьевич Разумовский приоткрыл один глаз и хрипловатым голосом произнес:

– Ну-ка, говори, что ты там нашкребал.

– Ваше сиятельство, – торопко начал секретарь, – осмелюсь напомнить, что сии слова вы сами мне продиктовать давеча изволили.

– Да не части, хлопче, не части. Делай шо говорить.

Сказано тебе, так повтори. А шо я тоби говорил, то я и так знаю. Память кой-какая еще есть.

– Начинать, ваше сиятельство?

– Давно уж пора. Слухаю.

«– Ваше императорское величество! Государыня! Ты можешь сделать из меня кого хочешь, но ты никогда не сделаешь того, что меня примут всерьез, хотя бы как простого поручика». Все, ваше сиятельство!

– Добре. Запечатай и отправь. И дай мне булаву.

– Жезл, ваше сиятельство.

– Ну, нехай жезл. Дай сюда и ступай вон. Воли много берешь, советник. Смотри, этим жезлом и попотчую.

Секретарь, зная нрав графа, исчез, приседая и кланяясь, в минуту.

Разумовский взял в руки жезл и начал его вертеть в больших, красивой лепки руках. Его смуглое выразительное лицо было задумчивым и печальным. Он тихонько насвистывал протяжную украинскую мелодию, а жезл поблескивал перед его глазами своими украшениями и гранями. Фельдмаршальский жезл. И так, с оного 1756 года он граф Разумовский – фельдмаршал. Граф и фельдмаршал усмехнулся, взгляд его затуманился. Он вспомнил. Последнее время он воспоминал все чаще...

Маленькую деревенскую церковь в Лемехах, что на Украине, казалось, до основания сотрясал могучий бас. Местные, уже давно привыкшие к нему, только одобрительно кивали в наиболее, на их взгляд, удачных местах, новый же здесь человек – полковник Федор Степанович Вишневский, возвращавшийся из Венгрии в Петербург, куда он ездил по серьезному государственному делу – закупал для императрицы Анны Иоанновны любимое венгерское вино, – был поражен. Он не поленился выяснить, кто же так поет. Оказалось – молодой крестьянин Алексей, имевший по отцу кличку Разум, поскольку тот любил повторять о себе: «Что за голова, что за разум!» Оправдывая семейное прозвище, Алексей быстро согласился поехать в столицу и стать певчим императорского двора. Услыхавшая его принцесса Елизавета Петровна настояла, чтобы певца уступили ей. Вскоре Алексей потерял голос и сделался бандуристом. И скоро, показав и здесь себя с наилучшей стороны, он стал управляющим одного из поместий принцессы, а потом и всего ее не очень обширного хозяйства.

После возведения Елизаветы Петровны на российский престол Разумовский начал быстро повышаться в чинах. В конце 1742 года произошло еще одно событие, о котором даже и присниться не могло молодому казаку, трясущемуся в легкой кибитке в сопровождении Вишневого на пути к Петербургу, к славе, богатству и почестям – в деревенской церкви в Перове, недалеко от Москвы, он тайно обвенчался с императрицей. А через два года император Австрии пожаловал его графом Священной Римской империи, приписав ему в этом дипломе княжеское происхождение. Разумовский первым высмеял наличие таких предков у себя, но императрице перечить не стал, и на Руси появился новый граф, в детстве пасший коров и любивший играть на сопелке.

Брак так и остался тайной, поскольку почти одновременно с ним – в ноябре – был опубликован манифест Елизаветы, провозглашавший голштинского герцога Карла Петра Ульриха,

сына своей сестры Анны Петровны, великим князем и своим наследником. Это была гарантия силам, возведшим ее на престол, что она не изменит тому устроению, наличие которого у нее и побудило участников дворцового переворота поддержать ее в решающую ночь.

Это было подтверждение ее лояльности Лейб-компании – той роте Преображенского полка, которая поддержала ее в ночь с 25 на 26 ноября 1741 года. Они стали личной гвардией императрицы Елизаветы, которой позволялось все. Они поссорились с князем Черкасским, великим канцлером, когда им показалось, что он плохо исполняет их все более возрастающие требования. Компанейцам попытались объяснить, на какого важного барина они дерзают напасть, на что ходатаям канцлера было отвечено:

– Он важный барин, пока нам заблагорассудится!

Елизавета подписала указ, предписывающий чеканить на оборотной стороне рубля фигуру гренадера. Когда в 1748 году одного из наиболее приближенных к императрице людей – Петра Шувалова высокопоставленные военные попросили ускорить решение ряда больших и сложных вопросов, он меланхолично ответил:

– Я занят делами Лейб-компаний. Лейб-компанцы прежде всего. Таков указ императрицы!

Они были ее опорой... В этом сказывались элементы патриархальности – Елизавета, как и Анна, были по сути своей барыни-помещицы, не отличавшиеся большим государственным умом и не желающие понимать, что подобное протектирование сил, позволяющих удерживаться на плаву, некоторым образом роняет достоинство власти. Как барыня она подбирала себе людей или лично преданных (Лейб-компания), или просто приятных (таковы фавориты). Но монарх должен обладать – если не обладает государственным разумом – хотя бы государственным инстинктом, иначе ему не удержаться у кормила власти. И как следствие этого, императрица должна была себе подбирать людей, способных оказать ей помощь в управлении страной.

Выбор не всегда был удачен, – людей, готовых решать державные дела, иногда просто не хватало – бироновщина дала свои плоды, но это происходило не по злой воле Елизаветы. Она гордилась Россией и любила ее, несмотря на все испытания, выпадавшие стране. Именно в эти годы произрастала целая плеяда людей, принесших в дальнейшем славу отечеству.

Но Елизавета Петровна не была в полном смысле этого слова правителем. Самодержица – да. Когда при ней произнесли титул великого канцлера, она сказала:

– В моем государстве великими являются только я и великий князь. Да и тот только призрак.

Но государственным человеком она не была. Она действовала скорее поддаваясь эмоциям, иллюзиям и воспоминаниям.

Преклонение ее перед памятью отца доходило до такой степени, что некоторые свои письма она подписывала «Михайлова», поскольку Петр в своих заграничных путешествиях имел псевдоним «Михайлов».

Буквально через несколько недель после восшествия Елизаветы кабинет министров, образованный во времена Анны Иоанновны, был упразднен и первенствующее место в делах управления государством снова занял Сенат, «как при Петре Великом». Но уже на следующий год кабинет был восстановлен, значение же и роль коллегии постепенно, но неуклонно падали.

Зато на протяжении всего царствования влиятельную силу, как своеобразное дополнение и своеобразный противовес официальным органам государственной власти, наряду с фаворитами и Лейб-компанией, представлял и особый женский кружок, попасть в который считалось великой честью, – занимавшийся чесанием императрициных пяток на сон грядущий. Кроме этого они еще и нашептывали что-нибудь императрице, чтобы та не скучала, нашептывали то, о чем их просили лица, принадлежащие к сфере политической. И часто эти ночные нашептывания трансформировались в дневные указы и рескрипты...

Такая же простота нравов царила и в развлечениях Елизаветы.

Любила поездки на природу, обеды в летних палатках, прогулки верхом и охоту. Между прогулкой и охотой, собрав своих фрейлин, она любила поводить с ними на лужайке хороводы. Утомившись, приказывала:

– Девки, пойте!

После пения – легкий сон в тенечке на специально раскинутом ковре. Одна из девок отгоняла мух, остальные стояли рядом, чуть дыша, если кто начинал болтать, в него летел Елизаветин башмак.

Были любимы и дальние поездки. Периодически на несколько месяцев она переезжала из Петербурга в Москву. Петербург пустел, Сенат, Синод, коллегии – иностранная и военная, казна, дворцовая канцелярия, почтовое бюро, вся дворцовая и конюшенная прислуга должны были ее сопровождать. На все это требовалось до 19 тысяч лошадей.

Особое благоволение высказывалось к быстрой езде: в карету императрицы впрягали дюжину лошадей и пускали их вскачь. Рядом бежала полная запасная упряжка, и как только одна из лошадей падала, ее сразу же заменяли. В 1744 году было предпринято путешествие в Киев. Старшина, желая поразить грандиозностью своего уважения и щегольнуть богатством, потребовал 400 коней. Алексей Разумовский, рассмеявшись, покровительственно похлопал по плечу отставшего от жизни провинциала:

– Надо в пять раз больше!

Вся эта роскошь – императрица имела несколько тысяч платьев, обычно надевавшихся раз в жизни, – помноженная на мотовство ближнего и дальнего окружения императрицы, тяжким бременем ложилась на плечи простого народа, прежде всего крестьян.

Сенат в середине 1750 года доложил императрице, что средний доход последних пяти лет – не считая подушной подати и некоторых других видов пополнения государственной казны – где-то около четырех миллионов, тогда как средний расход более четырех с половиной миллионов. Еще в 1742 году прусский посланник в России извещал своего короля, что «все кассы исчерпаны. Офицеры десять месяцев уже не получали жалованья. Адмиралтейство нуждается в 5000 рублей и не имеет ни одной копейки». Правда, справедливости ради следует заметить, что хронологически подобное положение дел следовало пока прежде всего инкриминировать Анне Иоанновне и Бирону со товарищи...

Всегда прослеживалась прямая связь: с ухудшением условий жизни народа растет его сопротивление, периодически начинающее приобретать открытые и явные формы и соответственно этому ужесточаются наказания, при помощи которых монархи стараются сбить волну народного протеста. На всем протяжении XVIII века наказания ужесточались, и к моменту воцарения Елизаветы они были весьма и весьма суровы. С жизнью подданных не церемонились – главное было дать наглядный пример всем остальным потенциальным бунтовщикам. Время было жестокое, палачи работали не покладая рук. А Елизавета начала с того, что уничтожила смертную казнь. Не юридически, так фактически, ибо за годы ее царствования ни один политический или уголовный преступник не был казнен.

В это же время были запрещены и пытки при проведении множества процессов – и нет им числа! – вызванных возмущениями крестьян.

Но осознавая свои обязанности в защите собственных прав и прав всех тех, кто владел в стране землею, дворцами, крестьянами, лавками с товаром и хорошими деньгами, она, следуя традиции своих царственных предшественников, отнюдь не отменила наказания кнутом.

Что же такое кнут, лучше всего станет понятно из указа отнюдь не добропорядочной императрицы Анны. В нем предписывалось в некоторых случаях наказания заменять кнут розгами, «дабы виновные остались годными для военной службы». Некоторые палачи-умельцы с нескольких ударов могли убить человека, а единым – перерубали деревянную лавку.

В 1748 году граф Брюс, назначенный императрицей комендантом Москвы, резко возражал против ограничения количества ударов, непосильных наказуемым кнутом. Пятьдесят ударов, кои предписывал наносить закон, ему казались очень незначительными.

– Но, ваше сиятельство, – пробовали возражать ему, – ведь нанесение более пятидесяти ударов – это значит убить виновного!

– Ну и что же? Ведь речь идет о замене смертной казни...

А кнут присуждался иногда за весьма малое, как было с одним купцом, осмелившимся взять за фунт соли пять копеек при установленной цене 45/8.

Бирон в предшествующие годы знал, что говорил, когда заметил: «Россией можно управлять лишь кнутом и кровью!» Менялось многое, неизменными оставались интересы сословия.

Первые годы правления Елизаветы Петровны – после заключения Абоского мирного договора – прошли для России без войн. Поход на Рейн – лишь незначительный эпизод, если учесть общеевропейскую обстановку. Но в конце своего правления императрица логикой мало-значимых поначалу и в отдельности внешнеэкономических акций подвела страну вплотную к войне, вошедшей в историю под названием Семилетней, которая прекратилась только с ее смертью. Именно эта война сделала имя Румянцева одним из наиболее известных в европейских военных кругах и во всем российском обществе.

После окончания войны за Австрийское наследство, в которой русские приняли участие корпусом Репнина, возросшая мощь Пруссии вызвала опасения французского двора, Алексей Бестужев-Рюмин с 1744 года – канцлер, сиречь глава внешней политики России, терпеливо внушал Елизавете, постоянно отвлекавшейся от скучных истин, высказываемых канцлером монотонным скрипучим голосом:

– Государь французский Людовик XV никогда не устанет бороться с своим извечным противником – Англией за колонии, особливо индейские, да и мировое господство уступать не хочет.

– Господи, все людям неймется! Нечто земли им не хватает?

– Хватает, ваше императорское величество, но кто же откажется от большего?

– Это точно. Однако при чем же здесь Пруссия?

– После утверждения Марии-Терезии на престоле Англия помогает Пруссии, видя в ней гаранта неприкосновенности своих ганноверских владений – ведь обсюзерены помогают лишь золотом, а не людьми, обычный прием островитян, привыкших таскать каштаны из огня чужими руками. Но Фридриху люди и не нужны – у него и так лучшая армия в Европе. А золото очень кстати. И не поймешь тут: то ли англичане платят ему, чтобы он защищал их Ганновер от французов, то ли из опасения, как бы пруссак на него не покусился. Дело запутанное.

– Скажи уж лучше политическое.

– Истинно так, матушка-императрица.

– Ну а нам-то с этого какой резон? Я уж изрядно запуталась во всех этих договорах и конвенциях. Как бы нам опять не попасть впросак, как в последней войне со шведом.

– Не попадем, ваше величество. Позвольте продолжить?

– Ну, давай продолжай...

– Итак, извольте обратить ваше просвещенное внимание на то, что Франция – в противовес Англии – начала оказывать помощь Габсбургам, желая тем самым заручиться союзником против Фридриха, который рассчитывает на первенство в делах германских – в ущерб Австрии. Исходя из этого Людовик французский и с нами дружбы ищет. Мы же, по моему разумению, должны всецело поддержать идею сего альянса, ибо и для нас король Прусский опаснее всех и является всегдашним и натуральным России неприятелем.

– Пока, канцлер, я так и не поняла почему.

– Его планы о полном подчинении Польши Пруссии и стремление посадить на Курляндский престол брата своего Генриха Гогенцоллерна тому причиной.

– Откуда же? И правда ли?  
– Наши агенты европейские передают. Да и посланник французский о том же говорит. Есть и сведения из самой Курляндии...  
– Посланник чужеземный нам не указ...  
– Все подтверждается, ваше императорское величество.  
– Ну, что ж, значит, пора унять сего предприимчивого государя. Действуйте, Алексей Петрович!

Разговоры на подобные темы велись в кругу, естественно, весьма ограниченном, так что мало кто и думал о возможности войны для России.

Мало думал об этом и Петр Румянцев. За несколько дней до наступления нового, 1756 года, а именно 25 декабря, ему был пожалован чин генерал-майора. Он получил его через двенадцать лет после предыдущего полковничьего, и теперь мог смело всем смотреть в глаза, не боясь ни усмешки, ни завистливого укора.

– Я, Катя, – говорил он жене, – отныне могу всем сказать: чин свой выслужил, не милостью лиц вышестоящих, не исканиями родных и друзей, а токмо делами своими.  
– Да уж. Сколько продвинулось за эти годы, а ты все в полковниках!  
– Ничего, жена. И в тридцать один не страшно еще в генерал-майорах быть – времени впереди достаточно. Мы еще свое возьмем. Главный порог пройден: генералы – все на виду, так что зависит токмо от нас. Что заслужим – то и получим.

– Дай-то бог.  
– Хотя, конечно, да ведь недаром говорят: бог-то бог, да сам не будь плох!  
– Вот и не будь!  
– Да уж постараюсь!  
– И знаешь, Петя, что. Вот ты сейчас сказал: все, мол, зависит от меня – что, мол, заслужу, то и получу. Но ведь заслуживать будешь – стало быть, кто-то оценивать будет, а ты ведь бываешь иногда весьма и весьма несдержан, и...

– Не искательствовал, не льстил и впредь не намерен! И это говоришь мне ты, Голицына! Разве ты забыла нашу первую встречу?

У кого мы тогда свиделись? Не у твоего ли дяди Дмитрия? Ты и ему бы сказала то, что сказала сейчас мне? Или мне – и только мне – сие можно говорить?

– Прости, я не хотела тебя обидеть. Я хотела как лучше.  
– Мы все хотим как лучше. Но не всегда это получается. Все дороги в преисподнюю начинались с благих намерений. Но это в общем-то так, к слову. Не будем омрачать Рождества.  
– И твоего назначения, дорогой.  
– Да уж, праздник к празднику!

Через десять дней был и третий праздник – день рождения, спустя месяц после которого он получил новое назначение – в Ревель, в стоящую там Лифляндскую дивизию. Отбывая по месту службы, Румянцев доносил об оном главнокомандующему генерал-фельцейхместеру Петру Ивановичу Шувалову лаконичным рапортом: «Во исполнение вашего высокографского сиятельства ордера я сего числа к команде в Ревель выступил, о чем вашему высокографскому сиятельству покорнейше доношу». Искательствовать он намерен не был.

Однако на новом месте он пробыл не долго – в воздухе все отчетливее пахло войной, и Румянцева отзывали назад, в Петербург, откуда он скоро – по получении секретного задания – спешно выехал в Ригу. Ему, наряду с еще двумя молодыми и перспективными генералами – Василием Долгоруковым и Захаром Чернышевым, поручалось приступить к созданию отборных боевых частей, традиционно отличавшихся в бою специальной подготовкой и мужеством, – гренадерских полков, набираемых из гренадерских рот пехотных полков.

Это распоряжение было отдано уже новым высшим военным органом – «Конференцией при высочайшем дворе». Конференция взяла на себя не только обязанности Высшего воен-

ного совета, но и все руководство внутренней и внешней политикой России. Она занималась разработкой стратегии будущей войны – предполагалось, что непосредственное командование армии в войне с Пруссией будет лишь покорным исполнителем решений Конференции, – занималась и вопросами комплектования войска, чему и стало следствием новое назначение Петра Румянцева.

Конференция приняла план подготовки к войне армии и флота; Румянцев сформировал Первый Гренадерский полк.

31 июня 1756 года Петр Шувалов – один из членов Конференции – доложил Военной коллегии о маршруте русских войск в Восточную Пруссию. Менее чем через два месяца после этого, видя, что коалиция против него обретает весьма зримые и весьма опасные черты – к союзу России и Австрии примкнули Франция, Саксония и Швеция, – Фридрих решил показать всем, что отнюдь не безопасно иметь его своим врагом: он вторгся в Силезию.

Российская армия, растянувшись по западной границе, к непосредственным боевым действиям готова не была. Румянцев возмущался:

– Что за страна такая! Ведь всегда так: уже ведь и пора, и знают все об этом, а пока по башке нам не дадут – ведь и не почешемся!

Его утешали:

– И что вы возмущаетесь, генерал! Сами же сказали: всегда так. Стало быть, не нами заведено, не нам и ломать! А в утешение вам – не одни мы не готовы, союзники наши тоже не больно-то...

– А мне на них плевать! И накладки европейские за образец держать не намерен! Впрочем, как и достижения, – добавлял он, остывая. – Своей головой жить пора! – вновь горячился.

А время шло. Только в сентябре утвердили командующего русской армией – генерал-фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина. Тут уж возмущался не один Румянцев. Все – от солдата до генерала – знали, чего реально стоит их новый фельдмаршал, любитель хорошего стола и гардероба, личный обоз которого даже в районе боевых действий, случалось, состоял более чем из пятисот лошадей.

– Ну что, господа, – злорадствовал Румянцев, – а каково теперь ваше мнение, что должно оставлять, а что ломать в порядках наших?

– Не ехидствуйте, генерал, – отвечали ему те, кто имел еще слабый запал поспорить, – вы ведь тоже с нами совместно, под командой сего стратега воевать пойдете!

– Пойду, – соглашался Румянцев, – но когда мне оторвет голову ядром – случайно, разумеется, – просто командующий поставит всю свою армию от большого ума под пушки Фридриха, я буду спокоен – вслед за моей отлетят и ваши головы, столь боящиеся задуматься!

– Ну, хорошо, задумаемся мы. А дальше что? Плетью обуха не перешибешь! Фельдмаршал наш ставлен самим канцлером Бестужевым-Рюминым! Вы что-нибудь имеете сказать канцлеру? Или персонам – членам Конференции? Так что сидите, ваше превосходительство, и не чирикайте! И вообще – побоку все серьезные разговоры и вопросы, от невозможности решения которых лишь болит голова! Пусть она лучше болит от другого! Где ваш стакан, генерал?

Король Прусский Фридрих II разговоров с их не слышал, иначе бы – как человек по-европейски воспитанный и вежливый – поспешил бы с ними согласиться. Но и не слыша их, он поступал так, как будто был их участником, то есть особого внимания на русскую армию не обращал.

Он считал, что основные события развернутся в Силезии, Богемии, Саксонии. Восточная же Пруссия может особо не опасаться нашествия восточных варваров: как по их слабости, так и благодаря тому, что, выведя лучшие войска на основные театры военных действий, он все же оставил губернатору Пруссии фельдмаршалу Гансу фон Левальду порядка тридцати тысяч во главе с блестящими офицерами – Манштейном, Мантейфелем, Доной, кавалеристами

Платтенном, Платтенбергом и Рюшем. Фридрих все рассчитал еще в самом начале войны – в 1756 году.

А теперь шел уже следующий, 1757 год. В июне, согласно планам Конференции, военные действия наконец начались – генерал-аншеф Фермор взял Мемель. Тогда же русская армия начала медленное движение к Кенигсбергу. Одна из ночевок в пути пришлось на местность на западном берегу реки Прегель, недалеко от забытой Богом и людьми деревушки Гросс-Егерсдорф.

... Уже народ наш оскорбленный  
В печальнейшей нощи сидел.  
Но Бог, смотря в концы вселенны,  
В полночный край свой взор возвел,  
Взглянул в Россию грозным оком  
И, видя в мраке ту глубоком,  
Со властью рек: «Да будет свет».  
И быть! О твари Обладатель!  
Ты паки света нам Создатель,  
Что взвел на трон Елисавет...

Шел 1746 год. Физик, химик, ритор и многое, многое другое Ломоносов читал свою оду на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны. Каждый год этот день отмечался одами и другими поздравлениями словесными – в стихах и прозе. Это – традиция. «Дщери Петровой» Ломоносов польстил еще в момент ее восшествия, напомнив ей о ее родителе и прямо требуя быть продолжательницей дел его державных. Елизавета, вспоминая эти строки, всегда умилялась. Именно благодаря своему поэтическому дару Михайло Ломоносов был поначалу известен верховной власти и даже иногда пользовался ее покровительством.

На следующий год была еще одна ода. Но каждая последующая декларировалась создателем со все меньшим энтузиазмом. Ибо ничего не менялось. Засилье иноземное в делах академических продолжалось, несмотря на нового ее президента – брата Алексея Разумовского – Кирилла. Тот, недавно дебютируя на этом посту, произнес речь вроде бы и дельную – разумеется, не им составленную. Куда ему до таких мыслей в восемнадцать-то лет! Но все равно – значит, советчики хорошие. А говорил Кирилл:

– Господа профессора, как ни прискорбно мне сие констатировать, но вынужден: думаете вы, ученые почтенные, токмо о прибавлении жалованья и получении новых чинов. Под предлогом же несовместимости науки с принуждением – бездельничаете!

Академики заерзали. Год миновал с тех пор, а впору удивляться: как ничего не делали – так и не делают, хотя и есть нововведение. Старая лиса Шумахер, советник академической канцелярии, фактический заправитель дел Академии, умудрявшийся сидеть на своем месте при всех переменах державной власти, усидел и на этот раз и настоял на новом регламенте, коий обязывал членов астрономической и космографической секций расширять границы империи открытием новых стран, физиков – эксплуатировать новые рудники, математиков же – основывать новые мануфактуры. Торжественные заседания Академии с его же легкой руки посвящались рассуждениям на странные темы, такие, как, например, о глазном клавесине аббата Кистель, которого Вольтер и Руссо дружно признавали безумцем.

Ломоносов допытывался:

- Господин Шумахер, как все сие это назвать?
- То есть, господин Ломоносов?
- А то и есть, что тут делом занимаешься, ночей не спишь, а вы...
- Что мы?

– Жалованье да харчи переводите!

– Сии мысли у вас от общей невоспитанности, господин Ломоносов, извольте прекратить!

Разговор этот не забывался. И уже позднее одного жаловался он своему приятелю – одному из немногих в Академии – Степану Петровичу Крашенинникову:

– Конечно, всякая власть – от Бога. Существовать без нее никак нельзя. Но ведь она же не просто так дана нам! Иначе сказать: сие есть необходимое зло, признание которого и падение ей же дает возможность заниматься настоящим делом...

– А в чем же оно?

– Будто и сам не знаешь... Множество проявлений его суммировать можно кратко – служение Отчизне. Или не во имя этого ты по Камчатке на карачках ползал?

– Ну, ладно, ладно, не гневись попусту-то. Побереги гнев свой для других.

– Что ж, продолжу. Когда сие зло упорядочено и, стало быть, терпимо, с властью мирятся. Когда же оно чрезмерно, когда забывают стоящие над тобой, для чего они в общем-то назначены, и рвут все токмо под себя – тогда нельзя молчать и бездействовать.

– Да немцы сии все Академию обсели. Как мухи мед, право слово.

– Не в этом суть. Человека оценивать следует по служению делу его. И Рихман мне дороже любого русака – ленивого да бездельного. Он науке, сей немец, служит, а, стало быть – России. А среди русских есть такие, что жизнь свою мыслят – как бы век на печи пролежать, да за старину рассуждать!

– Таких во всяком народе хватает.

– А я ничего и не говорю. Вестимо – в любой семье не без урода.

– Вот-вот, Михайло Васильевич, а насчет дельных немцев я так тебе скажу: их у нас по пальцам пересчитать можно, большая же часть урвать поболее и побыстрее к нам слетелись.

– Это – иное. Таковых трутней гнать поганой метлой, потому – и своих с избытком хватает.

– Ох, с избытком. Один Теплов Григорий Николаевич чего стоит!

– Ну, ты его не трогай. Наш, русский он.

– Смотря что под сим понимать. Русские испокон веку трудниками были – иначе бы не выжить. А он все норовит палки в колеса вставлять, чтоб его неспособность научная да лень мысли не вопияли. Он у нас политик! Когда тут о деле думать!

– Быть сего не может!

– Может. Ты хоть на каком-никаком, а верху в наших чинах академических, а мне-то снизу лучше видно. Он себя еще покажет!

И действительно: Теплов со своего назначения в 1746 году ассессором Академической канцелярии вместе с Шумахером, а затем с его зятем и преемником Таубертом немало сделали, дабы «приращения наук в России» было как можно меньше.

Ломоносов долго не желал смириться с сей мыслью: Теплов, природный русак и бывший наставник Кирилла Разумовского, понемногу становился ключевой фигурой в Академии, от помощи или противодействия которой зависело много. И Теплов оказывал. Противодействие. Противодействие всему: исследованиям в естественных и иных науках, созданию преемственной школы русской науки – гимназии и университету.

Ученый все же не терял надежду найти общий язык с дельцом – писал письма, вел разговоры, вызывая к тщеславию, чести, долгу. Одно из общений расставило, наконец, все знаки препинания – от запятых и многоточий до восклицательных знаков. Начали вроде бы о нейтральном, понемногу разговор оживлялся – начали вспоминать старину, дела и события минувшие, и тут Ломоносов возьми и спроси:

– Григорий Николаевич, как лицо, вхожее наверх, скажи, а какова участь брауншвейгцев: Ивана-младенца, матери его, отца, сестер. Неужто и ты не знаешь? Ведь они сразу тогда как в воду канули!

– Не тем интересуешься и не по чину спрашиваешь, но отвечу: велика Сибирь!

– Но ведь это жестоко! Ладно регентшу с мужем-соправителем, но детей-то!

– Жестоко? Тут суть политика, а в ней добро и зло – понятия неприемлемые. Польза и выгода – вот ее краеугольные камни: если полезно – значит, сие действие суть добро, ежели нет – зло.

– Безнравственно.

– Опять ты заповедь Христову во главу угла тянешь! А разум тебе на что даден? Тот же ученый! Для тебя же должен быть наиглавнейшим разум! Или ты только в своих ученых бдениях им пользуешься, а в жизни нашей многогрешной предпочитаешь обходиться без вмешательства сей хрупкой субстанции?

– Ирония ваша, господин Теплов, в данном случае неуместна.

Разум без добродетельных чувств слеп, и даже не только слеп, а и – опасен. Только одухотворенный добром, красотой, каждой истины в силах преодолеть он все преграды и открыть человеку то, к чему тот стремится. Ежели же он, разум, будет одинок в этой своей деятельности – то наградой за все его искания будет лишь мертвящая схема достижения шкурного благополучия и догма, призванная и, действительно, могущая объяснить и оправдать что угодно.

– Вы ошибаетесь, господин Ломоносов. В данном случае софистикой и радением догматов занимаетесь вы. Что ж, отбросим единый разум, который – по моему глубокому убеждению – единый руководит нами. Поговорим о столь любезном для вас разуме пополам с добром. Итак, что есть добро?

– Добро всегда едино суть.

– То, что хорошо всем...

– Положим.

– Даже не всем, а многим, так вернее. А разве плохо сейчас народу при матушке нашей императрице? Или вы, требуя словами своими, отпустить Ивана Антоновича, хотите новых смут, заговоров, крови и смертей?

– Ну, что ж, мы здесь одни: иначе бы я подумал, что ваша цель – передать меня в руки палачу. Отвечу вам: вы говорите так, как будто народ – творец и участник всех этих смут и заговоров. Вы вытаскиваете ваши доводы из замшелой шкатулки предшествующих столетий. Сейчас не времена первых Романовых, не времена Минина и Пожарского. И там, действительно, стоял вопрос о судьбе России – вот откуда смута, вся кровь и все смерти. И тогда, действительно, народ сказал свое слово – ополчение, освобождавшее Москву, было народом. А сейчас... Говорить о всеобщем кровавом поносе для страны лишь потому, что выпустят свергнутого мальчика-императора? Извините, сие смешно. Напрягите столь любезный вам разум: Анну Иоанновну пригласила кучка верховников, Бирона свергало несколько десятков преобращенцев-дворян, Миниха просто оттолкнули как лакея. За императрицей Елизаветой опять-таки триста преобращенцев... Вы не пробовали купаться в море в сильную волну?

– Нет...

– Я просто к тому, что на поверхности – волны, ветер, а внизу – обычная тишина. И привычное спокойствие. Так и здесь. Народу все равно. Конечно, хорошо, когда снимают 17 копеек подушного налога, но когда люди знают, что любой, кому приглянется твое имущество – и твой барин, и любое начальство, – в силах и праве его отнять, радости мало.

– Тут я с вами, Михайло Васильевич, полностью согласен. Жалкие подачки Бирона были не нужны российскому люду! Мы, как патриоты, понимаем это – ведь не в деньгах же счастье!

– Не ловите так мелко, господин Теплов. Вы прекрасно понимаете, о чем я. Да и потом, что же вы эдак уничижительно о деньгах-то? Ведь польза же какая, выгода их иметь! Ну, а коли вы патриот, то должны согласиться, что остальные не дали даже этого.

– Так, так! Это что же, вам не по нраву нынешнее правление? Вы что же – не испытываете священного трепета и священной и чистой любви к ее императорскому величеству?

– А, теперь вы заговорили о любви! А где же ваш разум и лишь разум? Разумеется – испытываю! Об этом-то, собственно, я и толкую вам все это время, что разум должен осеняться любовью. Мы любим нашу государыню, любим бескорыстно и приемлем ее сердцем и умом. И поэтому нам не нужны никакие брауншвейцы! А вот вы, столь страстный поклонник разума... Значит, вы рассудили, что выгоднее – и поэтому против Ивана Антоновича и за Елизавету Петровну? Сие весьма предосудительно, сударь, если не сказать более...

– Не передергивайте, господин Ломоносов. Я всем сердцем...

– Так что, признаете тогда, что наряду с разумом человек должен иметь и чувства, кои должны быть с разумом в гармонии?

– Это демагогия! Софистика.

– Вы занимаетесь сей демагогией весь разговор. Почему же вы не желаете кушать сами того, что для других готовите с охотой и в больших количествах, а потом столь усиленно навязываете? Или вы признаете право на отуманивание голов лишь за собой, поскольку вы сверху? Нет уж, сударь, коли начали играть в эти игры, то не грех бы запомнить накрепко: мне отмение, и аз воздам. Аз воздам! Слышите? А теперь честь имею кланяться, господин патриот. И поскольку, я думаю, вы слабы в греческом, то я на прощанье позволю себе маленькое словоизыскание и – перевод. Патриот, господин Теплов, это – родина, а отнюдь не та персона, коя правит ею. Так что впредь более точно употребляйте незнакомые вам слова. Почему бы вам не взять на вооружение слово «клевет»? Чудесное слово! Я дарю его вам. Равно остерегайтесь употреблять и различного рода теории – если не боитесь, что их могут обернуть против вас. Шапка, господин Теплов, должна быть по голове, равно как и голова по шапке! Не считайте себя на будущее единственным умным человеком. Сие далеко не так. Жизнь вам еще докажет данное не раз. Нам больше не о чем с вами говорить. И помощи больше у вас я просить не буду. Я живу для России, и укусы ее недоброхотов, в какие бы яркие одежды они ни рядились и какие бы красивые и правильные словеса ни произносили при этом, меня не испугают. Я знаю свой путь и знаю его конец. Он, возможно, будет ранним, но я сделаю все, что смогу. А это для каждого уже немало. Прощайте!

Болело сердце. И опять вспоминались разговоры с Крашенинниковым, как бились они над вопросом о добре и зле, и как вспомнилось ему старинное – вербовка, а вернее, похищение в прусский великанский полк.

– Вот он, пример-то зла истинного, всамделишного, неприкрытого и гордого в своей силе единономнения и наплевательства на судьбы других...

– Ну, коли это за зло почитать, Михайло Васильевич, тогда для нашего-то природного и пальцев не хватит – только успевай погибать.

– Это точно. Поэтому и жизнь кладем, с ними борючись... Подо все копают, все размыть хотят. Видал, как море берег гложет? Поначалу тот не поддается, а потом, ежели не укрепить, то и рухнуть может.

– Да, что свои, что чужие – не знаешь кто и хуже!

– Хуже тот, кто активнее в злобе своей, алчности, желании властвовать над нами, как над тварями бессловесными. Все одно с одним связано. Замечал, как к истории нашей подбигаются? Пока Байер с Миллером, а там и другие, я уверен, будут и не только иноземцы – и своих избыток будет! Недаром это, недаром! Ведают, что без корней человек – ничто, пыль на ветру, носимая по чужой воле. И ведь как пишут-то! Все, по-ихнему, способны державы свои создавать, лишь россы – нет! Чем же мы так пред Создателем-то провинились, за что

такая духовная немощь наша? А все оттого, что чуют все эти иноземцы, с России сосущие, но обрусеть не желающие да наши подголоски, что держава наша, ежели развернется, то весь мир изумлен застынет! Токмо из-под ига вылезли, всю Европу спася, и вот уже Русь – до окияна, в дверь Америки стучится! Петр Великий лишь верхушки жизни тронул – а уже Европе всей должно на Россию оглядываться при решении дел своих. Еще от крымцев отбиваемся, а султан уже начинает трепетать за Константинополь, враз прозвание его старое припомня. Поэтому и хотят нас обеспамятить, в покорстве воспитать, дабы сидели мы тихо все по щелям, кормили бы всех паразитов, сидящих у нас на шее, и их же бы и благодарили за науку и за то, что не забывают нас, бедных. Вот их мечта! Но этому не бывать! Покуда жив – не отступлюсь. Многим можно поступиться, но всего страшнее честь потерять, данную тебе предками для дел во благо своего народа и своей страны.

Под барабанную дробь, выбивающую генеральный марш, началось построение в ротные походные колонны. Раннее утро окутало землю белесым непроницаемым пологом влажного тумана, в который ныряли со своими командирами невыспавшиеся и оттого настроенные весьма мрачно солдаты.

Узкая дорога была со всех сторон окружена густым Норкентенским лесом, получившим свое название от деревни, где и проходил ночлег русской армии.

В силу своей достаточно большой численности – до 55 тысяч человек – армия вместе с командующим фельдмаршалом графом Апраксиным уверенно смотрела на возможность предстоящих сражений с пруссаками. Уверенность эта опиралась и еще на одно немаловажное обстоятельство – пруссаки пока избегали столкновений с русской армией, позволяя ей беспрепятственно разгуливать по своим владениям.

Согласно решению Апраксина армия, снявшаяся с ночлега около четырех часов утра 19 августа 1757 года, осуществляла марш в общем направлении на Алленбург. Движение предполагалось осуществлять двумя колоннами: правой – в составе 1-й дивизии Фермора и части 3-й дивизии Броуна и левой, состоящей из 2-й дивизии Лопухина и части 3-й дивизии. Впереди – исходя из плана – предусматривалось следование авангарда Сибильского в составе 10 тысяч пехоты и конницы, усиленных бригадой артиллерии.

Плохо поставленная русская разведка так до самого боя и не узнала, что Левальд, еще к вечеру 17 августа расположивший свою армию южнее Норкентенского леса, решил атаковать Апраксина по флангам: главный удар от д. Улербален через прогалину, ведущую к русскому лагерю, вспомогательный – по правому флангу русских вдоль дорог, ведущих к д. Норкентен с северо-запада и запада. На рассвете 19-го Левальд занял исходную позицию и внезапно на русские колонны авангарда и дивизии Лопухина, уже начавшие движение, обрушился жестокий артиллерийский огонь. Туман и наша разведка – вернее, ее практическое отсутствие – позволили пруссакам бить залпами с весьма выгодных позиций, почти вплотную.

Дивизии Фермора и Броуна также собирались в ближайшее время выступить, поэтому их обозы уже тронулись в путь. По диспозиции Апраксина предполагался общий марш через единственно возможный узкий прогал. И теперь обозы армии свалились к этому месту и создали толчею, пробку, сопровождающуюся массовыми истерическими ругательствами скупившихся людей. Залпы, начавшие доноситься все более и более близко, усугубили толчею, могущую легко перейти в панику. По ходу движения оказался и неизвестно откуда взявшийся ручей, своим присутствием накалявший обстановку.

Основной удар Левальд нанес по дивизии Лопухина. Массированный огонь артиллерии и густые порядки наступающей прусской армии вызвали поначалу замешательство:

- Сюда, сюда артиллерию!
- Сюда кавалерию!
- Пришлите как можно скорее кавалерию!
- К черту обоз!

– Назад, назад!

Паника, однако, фактически не начавшись, утихла. От злополучного ручья и многотрадного обоза – через лес, топь и фуры начали пробиваться к опушке отдельные солдаты и небольшие отряды под командой наиболее инициативных начальников. Выбираясь на открытое пространство, они, не обращая внимания на канонаду, выстраивались в боевые порядки. Таким образом намерение Левальда уничтожить русскую армию, не дав ей построиться для боя и тем самым вызвать при своем наступлении панику, провалилось. Это было первым звоночком прусскому фельдмаршалу, имевшему в своем распоряжении всего 24 тысячи солдат и намеревавшегося с их помощью просто разогнать и затем добивать, гоня, этот русский сброд.

Но все же управление войсками было нарушено – впрочем, общего командования со стороны Апраксина трудно было и ожидать, – большая часть армии не была задействована в силу крайне неудачных маршевых маневров, поэтому вся тяжесть принятия оперативных решений выпала на долю генерал-аншефа Лопухина. Без тяжелой артиллерии – эти бригады находились при первой и третьей дивизиях, – но под кромсающим огнем вражеской, без возможности наиболее оптимального построения своих войск, но под давлением приближающихся правильных порядков Левельда, в численном меньшинстве, поскольку пруссаки ввели в дело всю свою армию, что не могли сделать русские – таково было положение командира второй дивизии, при котором он должен был сделать все, чтобы не допустить разгрома всей армии.

Только что вернувшийся от Апраксина, весьма путано наметившего общую диспозицию армии, и с первого взгляда понявший, что умом фельдмаршала здесь не прожить, Лопухин первым делом приказал себе не торопиться и внимательно осмотреть прусские позиции, потом перевел взгляд на свои.

– Иван Ефимович, – обратился он к своему заместителю генерал-поручику Зыбину, – прикажите прекратить огонь; подпустим неприятеля ближе. Все равно для пуль пока слишком далеко.

– Слушаюсь, ваше превосходительство!

– И распорядитесь насчет раненых. Пусть отнесут в тыл.

– Хорошо, Василий Абрамович. А много их у нас?

– Да, многовато. Вот она – дозорная конница! Это надо же суметь – целую армию не увидеть! А нам теперь за это кровью приходится расплачиваться.

– Нам не привыкать.

– Да, это мы умеем. Ну, что ж, сделаем все, что в наших силах.

И, повернувшись, пошел к переминающимся солдатским шеренгам. Переминались солдаты и от чужой артиллерии, и в ожидании неминуемого – рукопашного боя.

– Ребята, – звонко крикнул им Лопухин, – наше дело – не робеть. Пусть пруссак робеет!

И вместе с Зыбиным, также выхватившим шпагу и ставшим во главе уже почти прямых боевых линий, быстрым шагом, постепенно все ускоряя его и переходя на бег, направился в сторону прусской пехоты. Солдаты обогнали его, уже не слишком молодого человека, и ударили в штыки. Штык сошелся со штыком – прусская пехота, пережив русский залп, почти в упор, который был по ним произведен по приказу Лопухина перед самой контратакой, не потеряла наступательного задора и твердо надеялась сломить в открытом рукопашном поединке русских. И это им начало удаваться. Нарвский и второй гренадерский полки, понесшие значительные потери еще при прусском артобстреле, сейчас таяли прямо на глазах. А к наступающим пруссакам линия за линией подходили подкрепления, наплывая на захлебывающихся под их множеством русских. Продолжала фатально сказываться и невозможность отвечать залпами артиллерии на залпы, а пруссаки продолжали косить выходящие из леса на подкрепление русские отряды огнем пушек.

Лопухин принял первый штык на основание шпаги, и когда он скользнул к эфесу, ударил неприятельского солдата рукоятью пистолета, зажатого в левой руке, в основание переносицы. Тот сразу закатил глаза и беззвучным мешком осел на землю.

Перепрыгнув через него, генерал поспешил на помощь к своему любимцу – поручику Попову, отбивавшемуся уже не шпагой, валявшейся сломанной пополам в нескольких шагах от него, с наскоро подобранным ружьем. Хороший фехтовальщик Дмитрий Попов отбил выпад одного из нападавших, тут же прыгнул в сторону второго и заколол его, успев ударом ноги опрокинуть третьего. Но еще несколько оставшихся упорно старались взять Попова в кольцо. Русских пехотинцев рядом оказалось всего несколько человек – остальные в горячке боя проскочили дальше и немного в сторону, кто-то уже poleg на поле брани – так что в данный момент под началом генерала Лопухина оказалось меньше солдат, чем положено табельному капралу. Пруссаки, увидев подбежавшего к ним русского генерала, несмотря на отчаянные крики кучки набегавшей русской пехоты и на опасность оставления в своем тылу Попова, несколько из них развернулось и дали залп по Лопухину. Тот почувствовал внезапный толчок и инстинктивно схватился за сразу ставший липким левый бок. Пистолет выпал у него из руки, он пошатнулся и был подхвачен успевшим подбежать к нему офицером. Теперь группа русских потеряла свободу маневра – она окружила раненого генерала и начала пятиться к своим тылам, сдерживая сразу после этого удвоившуюся ярость пруссаков. Кроме непрекращающихся штыковых наскоков противник начал и лихорадочно обстреливать маленькое каре русских. Один за другим падали, успевая пронести раненого генерала буквально несколько шагов. Последним упал получивший сразу несколько штыковых ран Попов. Подбежавшие к Лопухину прусские пехотинцы, увидев, что он лежит недвижим, не растратив наступательного запала, устремились дальше. К этому времени уже все поле было за пруссаками. Они глубоко охватили правый фланг дивизии Лопухина, смяли его и оттесняли дивизию к лесу, грозя зайти ей в тыл.

Генерал-поручик Зыбин был убит еще в самом начале рукопашного боя. Заступивший на его место бригадир Племянников приказал полкам, – а вернее, тому, что от них осталось, – отступать на первоначальные позиции на опушке леса. В это время раздались крики – сразу с нескольких сторон:

– Братцы! Ребята, смотри! Жив наш генерал-то! И правда, живой!

Лопухин, откатившийся на поле боя и бывший до этого без сознания от еще нескольких огнестрельных ранений и непрерывной тряски, сейчас пришел к себя и как-то неумело старался привстать. Заметив это его движение, к нему бросились несколько пруссаков.

– А-а-а! – раздалось со стороны русской позиции. – Не отдадим! Ребята, что же мы?

Племянников приказал контратаку и первым с криком «Вперед!» побежал по только что оставленному русскими полю, обильно политому их и вражеской кровью. Единый порыв вмиг подхватил солдат второй дивизии; он был так силен, что не ожидавшие его неприятельские солдаты даже начали было понемногу очищать с таким трудом завоеванное ими пространство, но бригадир, твердо решивший не увлекаться и понимавший, что опомнившиеся пруссаки именно здесь в состоянии уничтожить его потрепанные порядки, сразу после того, как Лопухина отбили, распорядился об общем отступлении к лесу.

Там уже были установлены полковые батареи, заблудившиеся поначалу неведомо где и наконец благополучно отыскавшиеся, так что Племянников на вопрос раненого генерала, заданный тихим прерывающимся голосом: «Ну как?», имел полное основание ответить:

– Еще подержимся, ваше превосходительство. Хоть и жмет пруссак.

– Главное – не допустить паники, Петр Григорьевич. Если нас опрокинут, Левельд пройдет железной метлой по всему пути до нашего ночлега, и армия перестанет существовать. Так что держитесь. Помощь должна быть!

– Слушаюсь, Василий Абрамович! Будем держаться.

Он распрямился от лежавшего на разостланных плащах Лопухина и только собрался тихо от него отойти, как насторожился и стал пристально вглядываться вдаль – в тылы пруссакам. Там начинался шум, свидетельствующий всегда о бое. Но кто сейчас ввязывается там в бой? Насколько знал Племянников, русских сил там было не много.

Но это были именно русские и именно силы. В тыл прусской пехоте, все более и более окружавшей дивизию Лопухина ружейным и артогнем, уже и со стороны леса, внезапно вышли четыре свежих русских полка: Воронежский, Новгородский и Троицкий пехотные и Сводный гренадерский. Это были полки бригады генерал-майора Румянцева.

С начала боя его бригада располагалась на месте ранним утром завершившегося ночлега на северной опушке леса. Бригада числилась в резерве и никаких приказаний о дальнейших действиях не получала. Начавшийся внезапно бой, внесший сумятицу в действия высшего командования и полностью расстроивший управление армией, позволил командирам Румянцева о его бригаде, по-видимому, забыть.

Командир бригады по собственным разумению и инициативе построил свою бригаду в каре – на случай отражения кавалерийских атак пруссаков и организовал разведку – через лес, к месту боя – с требованием подробно извещать обо всем там происходящем. Через некоторое время поручик, возглавлявший разведывательную группу, докладывал:

– Ваше превосходительство, неприятель атакует нашу армию. Основной удар – по центру, по дивизии генерал-аншефа Лопухина. Правый фланг – там недалеко какой-то фольверк – держится.

– А, фольверк Вейнотен!

– На левом фланге кавалерия пруссаков, ваше превосходительство, заманена под огонь артиллерии и пехоты авангарда на высотах западнее Зитерфельде.

– Хорошо, хорошо, что со второй дивизией, поручик?

– Главная атака ведется против ее правого фланга.

Положение опасное: большие потери, артиллерии я не видел, прусская пехота отжимает их от леса и окружает...

– Окружает или окружила?

– Окружает, ваше превосходительство. Дивизия держится стойко, но потери и отсутствие артиллерии...

– Достаточно, поручик, я сам знаю достоинства дивизии.

Скажите лучше, как лес, через который вы сейчас изволили прогуляться туда и обратно? Его ширина, проходимость?

– Около полверсты, ваше превосходительство. Лес болотистый, но пройти можно.

– Спасибо, поручик. Свободны.

Проводив глазами отошедшего офицера, Румянцев задумался.

Потом резко тряхнул головой и направился к каре. При его приближении тихий шепот, стоявший в шеренгах, сразу замолк.

– Солдаты! – поднявшись на повозку, начал командир бригады. – Вы слышите, – он махнул рукой за лес, – там идет бой. Наши братья сражаются там. Им трудно, и долг наш – прийти к ним на помощь. И мы пойдем к ним на помощь, пойдем сквозь этот лес. Пойдем быстро – от этого зависит жизнь наших товарищей там. Поэтому обозы, артиллерию, патронные повозки, мешки, шанцы – все оставить здесь. Только ружья! Только штыки. Без дела не стрелять – а залпом, по моей команде. И молча. «Ура» крикнем, когда победим! Идти полковыми колоннами. Все!

Полки шли через лес, проваливались в глубокие выбоины, наполненные застоявшейся водой, и мелкие болотца, цепляясь за острые сучья и проваливаясь в листовенную и хвойную труху, сплошным темно-рыжим ковром покрывавшую землю. Шли, по пути присоединяя мно-

гочисленные разрозненные группы солдат, отброшенных превосходящими силами противника в лес, но бывшими не прочь еще раз попытать военного счастья в открытой сшибке с врагом.

То, что Румянцев сейчас делал, было вопиющим нарушением основополагающих принципов линейной тактики, господствовавшей в военных доктринах этого периода, кроме того – формальным нарушением всех принципов субординации и дисциплины, так как никакого приказа он не получал, что могло иметь для молодого генерала далеко идущие последствия – особенно в случае поражения. А кто в бою возьмет на себя смелость гарантировать победу?

Румянцев шел на все эти нарушения сознательно. Пренебрежительно относясь к заостренным доктринам западноевропейских стратегов, он давно пришел к выводу, что только отказ от них может стать залогом победы. Но кто-то должен быть первым на этом пути противодействия рутине и косности. Сегодня, спеша во главе своих полков на помощь товарищам, генерал Румянцев поставил на карту все...

Солдаты бригады Румянцева вместе с присоединившимися к ним! сразу, внезапно, вдруг во множестве появились на опушке. Румянцев быстро осмотрел поле сражения. Появление русских, оценил он, именно сейчас и именно здесь было чрезвычайно удачным: пруссаки повернули свои боевые порядки против фланга дивизии Лопухина, и тем самым подставляли под удар Румянцева свой фланг и тыл. Командир бригады не замедлил воспользоваться этим. Увидев, что его окружает уже значительное количество солдат, он отрывисто скомандовал:

– Огонь!

И сразу же:

– Вперед!

Бригада стремительным рывком сошлась с первой линией прусской пехоты. Минутный лязг штыков, крики раненых, умирающих и трусов, заглушаемые многоголосым «ура!», казалось, рвущим барабанные перепонки, и пруссаки обращены в бегство. Убегающего бить легко – главное догнать. А русские, еще не выдохшиеся в бою и чувствующие уже пряный вкус победы, догоняют. Первая линия редет, тает, истончается. В этом ей помогает вторая линия пруссаков, принявшая своих товарищей по оружию за наступающих русских. Наконец, все же поняв свою ошибку, вторая линия пытается дать отпор подбегающим пехотинцам Румянцева, но их сначала частично сминают свои отступающие, а затем, возбужденные победой, на них наваливаются русские. Все сопротивление сметено! Прусские батареи захвачены, прусская пехота и артиллерия начинают сдаваться в плен.

Русские дошли с боем почти до противоположного леса и неожиданно встречают там Племянникова с его солдатами, который, увидев наступление Румянцева, повел в атаку и свою пехоту. Поблагодарив Румянцева за своевременную помощь, он поведал ему о потерях дивизии. Поведал кратко, устав от боя, ослабев от раны в голову. Да и что было много говорить? Лучше всех слов говорило за себя поле боя, почти сплошь усеянное убитыми и ранеными.

– Пойдемте, Петр Александрович, – морщась, сказал Племянников, – покажитесь Василию Абрамовичу. Он сразу понял, что это вы со своей бригадой.

– Как он?

– Вельми плохо. Так что поторопимся.

Лопухин умирал. Дышал он с хрипом, грудь его судорожно вздымалась, но воздуха генералу все же не хватало. Увидев подошедших к нему генералов, он спросил их взглядом: «Что?»

– Победа, Василий Абрамович, – радостно произнес Племянников, подталкивая Румянцева поближе к раненому, – узнаете виновника виктории?

– Спасибо вам, генерал, – тихо произнес Лопухин. – Русская честь спасена. Теперь умираю спокойно, отдав мой долг государыне и Отечеству...

Генералы склонили головы над умершим. Их шляпы были потеряны в бою – им нечего было снять из уважения к герою, погибшему на поле брани, и лишь ветер развеивал их волосы, присыпанные пылью, измазанные пороховой гарью и смоченные кровью.

Помолчали. Потом Румянцев повернулся к Племянникову:

– Вот и все. И еще одного солдата мы оставили на поле.

Кстати, эта деревушка там, в конце поля, Гросс-Егерсдорф?

– Она самая, Петр Александрович.

– Запомним.

– Да и королю Прусскому отныне ее не забыть. И детям своим передаст, что есть такая деревня в Пруссии – Гросс-Егерсдорф!

...Русская армия отступала. Это была та самая армия, что лишь малое время назад доказала всем и самой себе, что есть она на самом деле. Теперь же она пятилась к Курляндии.

После Гросс-Егерсдорфа русские несколько дней держали победное поле битвы за собой, потом неторопко пошли вперед, но, пройдя лишь самую малость, затоптались на месте и, подумав – не понять, хорошо ли думали, плохо ли, да и чем делали сие – крепко, начали отход в сторону своих баз, на восток, в Курляндию.

Двигались в тяжелейших условиях: наступавшая распутица делала дороги почти непроходимыми, а те, по которым и можно было двигаться, могли принять лишь немногих – и если первым еще было терпимо, то концы колонн почти плыли по жидкой грязи. Не хватало продовольствия, армейские лошади, привыкшие к овсу, по недостатку оного перейдя лишь на подножный корм, быстро теряли силы. Черные гусары пруссаков донимали своими уколочными молниеносными налетами. Армия таяла – отход более любого сражения отнимал солдатских жизней.

Труднее всего было раненым, повозки, с которыми помещены были в хвосте. После каждого привала тихо угасших в скорбном молчании спешно зарывали при дороге. Это становилось привычным. И это пугало...

О них вспоминали редко. Еще реже кто-либо из генералов подъезжал к ним. Румянцев был одним из немногих. Как-то раз, подбежав к фурам, он встретил там и Племянникова, беседовавшего с перевязанным офицером, лежащим на одной из передних повозок.

– Вот, Петр Александрович, – поспешно, даже с каким-то облегчением, – Племянников представил раненого Румянцеву, – рекомендую: герой Гросс-Егерсдорфа – поручик Попов.

– Право, господин генерал, – замялся поручик, и Племянников наблюдал сие с удовольствием, – вся армия знает истинного героя Баталии. – Офицер выразительно посмотрел на Румянцева. Все почувствовали налет неловкости, такой же, как всегда хорошего человека принуждают лицемерить жизненные обстоятельства. Он это делает, но так неловко, что даже окружающим за него неловко, а не видеть нельзя – слишком бросается в глаза.

– Ну, что же, господа, – неуклюже-бодро после непродолжительного молчания, – я вынужден буду вас покинуть, что я, собственно, и собираюсь сделать до приезда господина Румянцева, а вам, Петр Александрович, – обратился он к подъезжающему генералу, – все же еще раз позволю себе рекомендовать нашего героя. Кроме сугубой смелости в баталиях, он так же смел и в мыслях своих.

Бригадир тут же после этих слов хлестнул лошадь и с поклоном исчез: Румянцев задумчиво покусал губы, провожая его взглядом, и повернулся к повозке с раненым, пристально всматривающимся в него.

– Господин поручик, господин бригадир как-то не очень ясно очертил, как вы слышали, тот круг вопросов, что вы изволили с ним обсуждать и что заставил его столь поспешно ретироваться.

– Ваше превосходительство, господин бригадир изволил говорить со мной о русской армии, о некоторых баталиях, в коих она участвовала. Но мы сошлись с ним не во всех оценках...

– В каких же, если, конечно, это не тайна.

– Никакой тайны, ваше превосходительство. Вы в армии имеете на это право в первую очередь.

– Это почему же?

– Как победитель Левальда...

– Прусского фельдмаршала разбила армия, предводительствуемая фельдмаршалом Апраксиным, молодой человек.

– Койй ею в бою не управлял...

– Попрошу вас...

– Слушаюсь. Впрочем, это не суть. Я лишь хотел сказать, что почту за счастье услышать ваше мнение, – мнение человека, делом доказывающего, что он имеет на него право, что оно истинно его, а не заемное, – о некоторых положениях нашего разговора с господином бригадиром.

– Слушаю вас.

– Итак, мы говорили с ним о различных баталиях, проходивших с участием русской армии; и мы совершенно не могли прийти с ним к согласию в оценке значимости этих побед...

– Вы отрицали их значение? Или приумалили?

– Ни в малейшей степени. Просто господин бригадир расценивал их как суть свидетельство нашей русской силы, я же находил в них проявление нашей слабости.

– Казуистический вывод, достойный древних софистов, – спокойно-добродушно усмехнулся Румянцев, глядя на разгоряченного своими словами поручика как на расшалившегося ребенка. – И на чем же вы основываете свое столь неординарное умозаключение? Ведь для подобного вывода, как вы сами понимаете, одного посыла недостаточно. Тут должно иметь стройную систему взглядов, из коих и проистекает подобный тезис...

– Да, разумеется, я все понимаю. Даже то, что мои слова вы не воспринимаете всерьез. Господин бригадир вел себя так же. А потом, как вы заметили, отъехал весьма поспешно.

– И каким же доводом, – насмешливо бросил генерал, – вы обратили его в столь бесславную ретираду?

– Я лишь сказал ему, что наши солдаты воюют почти без воинского умения.

– То есть как это, господин поручик, а кто же тогда побеждает, как не русские солдаты? Вот хотя бы у Гросс-Егерсдорфа?

– Ваше сиятельство, вы не изволили дослушать. Я разумел под умением воинским всю совокупность ремесленных навыков войны, без коих он всегда будет суть существо страдательное. Русские же солдаты пока воюют и побеждают – пока – благодаря лишь смелости и цепкости природным, кои были воспитаны в нас предшествующими веками.

– Значит, надо, по-вашему, готовить из русских солдат куклы военные?

– Нет, не надо. Как и не надо мысль мою поворачивать лишь одной стороной. Вот листок, – он взял оказавшийся на повозке кленовый лист, – с одной стороны – темнее, с другой – светлее. Так и мои слова. Если к смелости и разумной осмотрительности нашего солдата добавить еще и прочное владение им воинской наукой – его никто не победит. А пока он воюет и добивается побед слишком большими жертвами, слишком большой кровью.

– Разумно.

– Как разумно и то, что кровь эта льется не токмо из-за солдатской неумелости, но и – даже больше – из-за неумелости их командиров. Наши генералы – я не вас, разумеется, ваше превосходительство имею в виду...

– Да уж, конечно...

– Наши генералы либо вообще ничего не знают из военной теории и норовят переть – как древние рыцари – грудь в грудь, силой силу ломать, либо затвердив два-три образца из прошлых времен, все хотят их в своих войнах применить...

– Сие справедливо.

– А ведь полководец-то должен быть ярим мыслителем. Ведь на войне все может смениться за миг, и сие должно уловить и использовать к своей выгоде. Знание, разум, острое чувство – вот что такое водитель полков. А у нас? Вот вы, ваше сиятельство, ведь у Егерсдорфа поступили так – и победа. А ведь правила-то нарушили!

– Нарушил. Но ведь, поручик, сии правила европейские. Как же без них-то?

– А вот так, как вы делали. Я ведь не зову все иноземное копировать. Я хочу, чтобы свою силу сохранив, мы все доброе и за морями взяли – ведь целые фолианты в Европе написаны о полководцах – вот бы изучить. Изучить, но не заучить, знать, но не слепо копировать. А все их правила, как солдат собственных давить – нам без надобности. У них свое, у нас свое. И если мы начнем у них брать что ни попадя, то мы возьмем себе и их поражения.

– Значит, брать не будем?

– Плохого не будем. А хорошее пока не умеем. Или не хотим. Наши генералы еще пока слабы: ничего не знают, да и солдатам не верят. У Фридриха же его военачальники как волки натасканы – они еще накажут нас.

– За что такая пагуба ждет нас?

– А за то, что если из своих поражений мы еще умеем извлекать уроки, то из побед – никогда.

– Хорошо и сильно сказано. Но подмечая в своем народе столько дурного, не грозим ли мы ему и себе вместе с ним жалким прозябанием?

– Я хую лишь то, что должно. И не нахожу в этом приятности. Достойное же хвалю. Невозможно излечение больного без определения его болезни.

– А не спустит больной руки, визнав все? Не лучше ли приоткрыть ему истину не целиком, а частично?

– Ложь во спасение? Она хороша, как вы мудро подметили, для больных. Народ же наш, пока он есть, в основе своей здоров. И для него необходимо знать правду. Иначе, не визнав ее, он будет все глубже и глубже низвергаться. Но все же вы правы – должно соблюдать золотую середину. Жизнь многолика, и всегда можно набрать из нее кучу грязи или кучу одних лепестков. Знать суть – вот задача.

– Господин поручик, вот вы изволили сказать сейчас, что народ наш здоров? А что есть нездоровье народа? Где сие? И в чем здоровье нашего?

– Ваше сиятельство, античная история учит нас, что жизнеспособны суть те народы, кои имеют сильных землепашцев...

– А наши сильны?

– Да.

– А в чем же сие проявляется?

– В их твердости следованиям заветам предков, завещающих им жить на земле...

– Сие не их заслуга – такова воля их господ. И к тому же, господин поручик, как вы знаете: если ранее землепашца нельзя было продавать отдельно от его нивы, то теперь сему закон не препятствует... Так в чем же сила? Иные страны же давно отменили у своих селян крепь – стало быть, по-вашему, они сильнее нас?

– В чем-то – да. Но там государь и его приближенные имеют дело с каждым селянином, стоящим одиноко, у нас же между ними стоит община. Она предохраняет деревенского трудника от разных невзгод, ниспосланных на него богом и злыми господами. Мир делит зло и добро на всех, давая тем самым возможность жить и дышать.

– Стало быть, наша сила в общине, а слабость иных – в ее отсутствии.

– Или слабости.

– Хорошо. Или слабости. А в чем тогда болезни? Или слабость и есть болезнь? И тогда нам одним жить, а все иные – уже обречены?

– Слабость не есть болезнь. Но уже как бы ее преддверие. Когда во главу угла ставится польза не мира, а своя...

– Стало быть, и вы, и я больны, ибо не в общине?

– Для нас вся держава – община.

– А для иных нет? Для французов, например. Для тех же испанцев? А если нет, тогда что же такое Реконкиста?

– Ваше превосходительство, я знаю, что значит Реконкиста. Десятилетия внешней опасности сплотили народ испанский. За нами же – века и века сей угрозы. Насколько же мы крепче... Иные народы те же века живут как бы и спокойно. Хотя и воюют, но не ощущая при этом за своей спиной ужаса исчезновения. Страх же контрибуций – не страх.

– Значит, наша сила в предшествующих несчастьях... И стоит нам зажить без войн, как мы себя потеряем, ибо, как мы уже выяснили, только что, одной общины при нашей сегодняшней жизни маловато... Ведь селянин наш не греческий да римский там гражданин, даже не новгородец наш старинный, а раб, колон, холоп. А какая сила с раба? Вот и остается война...

– Не все наши крестьяне рабы. И мир деревенский живет... И память народная о великом и злом жива...

– Верю тебе, верю, не сердись, поручик. Просто мне, как, вижу, и тебе, хочется понять кто мы, откуда и куда идем – вот и пристаю я к тебе с вопросами. Другой бы меня спросил – я бы отвечал бы как ты вот сейчас. А уж коли довелось мне побывать в облике спрашивающего – удержаться не мог.

– Так, стало быть, вы со мной согласны?

– Согласен, согласен. Но в чем? Что мы лучше других? Но вот ты же не смог мне доказать сего. Ведь я не услышал же на свои вопросы таких ответов, после которых спрашивать уже нечего. Ведь так?

– Да, но...

– Вот видишь. Мы не лучше и не хуже. Просто мы – немного иные. Как и все прочие. Не надо сим ни гордиться, ни ужасаться. А просто понять и принять. И жить, исходя из сего постулата. Зная сильные и слабые свои стороны, можно усилить первые и попытаться избавиться от вторых. Понимать свое место в череде иных народов и жить, исходя из этого. Ты все, Дмитрий, говорил верно о том, кто мы, но, может быть, просто, переводя свою душу в слова, что-то теряешь неуловимое. Сие невозможно объяснить – с сим можно токмо родиться. А уж коли родились, то и жить должно так, чтобы не стыдно было признаваться в том, кто ты.

– Истинно так.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.